РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**С О Ц И А Л Ь Н Ы Е
И
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И**

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я И З А Р У Б Е Ж Н А Я
Л И Т Е Р А Т У Р А

РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

СЕРИЯ 11

СОЦИОЛОГИЯ

2017 – 1

Издается с 1991 года
Выходит 4 раза в год

МОСКВА 2017

ББК 60.5
С 69

Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел социологии и социальной психологии

Редакционная коллегия серии «Социология»:

М.А. Ядова – канд. социол. наук, гл. ред., *Д.В. Ефременко* – д-р полит. наук, *Л.Н. Верчёнов* – канд. филос. наук, *Л.Д. Гудков* – д-р филос. наук, *М.В. Ильин* – д-р полит. наук, *Ю.А. Кимелев* – д-р филос. наук, *В.Г. Николаев* – канд. социол. наук, *Н.Н. Федотова* – д-р социол. наук, *А.Ф. Филиппов* – д-р социол. наук, *Е.В. Якимова* – канд. филос. наук, *Я.В. Евсеева* – отв. секретарь, науч. сотр. отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН

Социальные и гуманитарные науки. Отечест-
С 69 венная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – № 1. – 154 с.

Данный номер журнала включает тематическую подборку рефератов по социологии образа жизни, а также рефераты и обзоры по этносоциологии, теории и истории социологии, политической социологии, исследованиям социальных движений, социологии молодежи и раздел «Социологическая классика».

ББК 60.5

ISSN 2219-8830 © ИНИОН РАН, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА: СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ

М.А. Ядова. Социология образа жизни: Предметная область и направления исследований: Введение к тематическому разделу 6
2017.01.001. Вьяццо П.П., Гонсалес Диес Х. «Новые формы семьи» в Италии: От морфологического сближения к культурной устойчивости. 9
2017.01.002. Десмонд М. Одноразовые социальные связи и городская беднота 15
2017.01.003. Лукас М. Устойчивое потребление и «простые» жизненные стили: Какие перспективы проявляются в повседневной жизни? 19
2017.01.004. Мандемакерс Й., Рутерс А. Фастфуд или слоуфуд? Сколько времени люди тратят на еду: Объясняя тренды в Нидерландах в 1975–2005 гг. 25
2017.01.005. Ширмер Б. Хипстеры позднего модерна: Новые тенденции в поп-культуре 31
2017.01.006. Бартмански Д., Вудворд И. Виниловая пластинка: Культурная икона 39
2017.01.007. Ллевеллин Н. «Деньги говорят»: Коммуникативная и символическая функции наличных денег 42
2017.01.008. Прибыльски Э.К., Вайнштейн Н. Можешь ли ты сейчас связаться со мной? Как присутствие мобильного средства связи влияет на качество межличностной коммуникации 50

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

2017.01.009. Морнинг Э. А вы думали, мы все это уже преодолели: Биологическая раса возвращается в социальные науки 56
2017.01.010. Логан Н. Инициатива *Starbucks* «Race Together»: Анализ PR-кампании сквозь призму критической теории расы 62

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ

2017.01.011. Слиз А., Щепаньский М.С. Генеалогия социологических теорий: Попытка общего осмысления 69
2017.01.012. Гиллеард К., Хиггс П. Как наладить связь между психологией и социологией жизненного пути: Новый подход к проблеме 74
2017.01.013. Тёрнер С.П. Деинтеллектуализация американской социологии: Почти экскурс в историю 82

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

2017.01.014. Монтен Дж. Интервенция и государственное строительство: Сравнительный анализ опыта Японии, Ирака и Афганистана 87
2017.01.015. Лаундс В., Мадзива Р. Когда я смотрю на этот фургон, для меня он не просто фургон: Символические объекты в миграционной политике 94

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

2017.01.016. Джаспер Дж.М., Оуэнс Л. Социальные движения и эмоции 100
2017.01.017. Уорд М. Переосмысление микромобилизации в социальных движениях: Мультистадийная теория и роль социальных связей 112

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ

2017.01.018. М.А. Ядова. Моральные авторитеты российской молодежи. (Аналитический обзор) 120

CURRICULUM: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

2017.01.019. Мартино Г. Как наблюдать: Нравы и обычаи (фрагменты из книги). (Перевод с англ.) 132
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ РАБОТ, ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА 151
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 152

ТЕМА НОМЕРА: СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ

М.А. ЯДОВА. СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ: ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Введение к тематическому разделу

Под образом жизни обычно понимают устоявшиеся, типичные для определенного социума способ и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека. Интерес к образу жизни как предмету научного анализа возник у обществоведов с момента зарождения эмпирической социологии. Напомним, что первые прикладные социальные исследования стали проводиться начиная с XVIII в. В их числе необходимо выделить прежде всего работы А. Кетле о теоретико-методологических принципах социальной статистики («Человек и развитие его способностей, или Опыт социальной физики», 1835), а также труды Дж. Синклера («Статистическое описание Шотландии», 1791–1799), Д. Дэвиса («Изучение семейного бюджета трудящихся классов в Англии», 1787), Ч. Бута («Жизнь и труд людей в Лондоне», 1891–1903), Ф. Ле Пле («Европейские рабочие», 1877–1879), А. Гэрри («Опыт моральной статистики Франции», 1832) и др.[1] Однако полноценное

[1] Подробнее см.: Quetelet A. Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale. – P.: Bachelier, 1835; Sinclair J. The statistical account of Scotland, 1791–1799. – Wakefield: E.P. publishing, 1973; Davies D. The case of labourers in husbandry stated and considered, in three parts. – Dublin: Printed by P. Byrne, No. 108, Grafton-Street, 1796; Booth Ch. Life and labour of the people in London. – N.Y.: A.M. Kelley, 1969; Le Play F. Les ouvriers européens. – Tours: A. Mame et fils; P.: Dentu, Larcher, 1877–1879; Guerry A.-M. Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale de la France. – P.: J.-B. Baillière et fils, 1864.

развитие эмпирическая социология получила в первой половине XX в. в исследованиях представителей Колумбийской (Р. Мертон, П. Лазарсфельд), Гарвардской (Э. Мэйо, П. Сорокин), Немецкой (Х. Шельски, Ф. Адлер) и особенно Чикагской (Р. Парк, Э. Бёрджесс, У. Томас, Ф. Знанецкий) научных школ.

Стремясь к получению максимально точной, фактографической информации, социологи предпочитают говорить не об образе жизни вообще, а об образе жизни и действий отдельных индивидов и социальных слоев, носителей различных социально-демографических и социально-профессиональных характеристик. Образ жизни – не статичная, а динамично меняющаяся категория, поэтому для каждого этапа развития общества характерен свой «набор» специфичных «образов жизни» его членов.

Важнейшей составляющей образа жизни человека является понятие социальных связей. Зачастую именно способ организация и тип подобных взаимодействий отличают представителей одной социальной общности от другой. Настоящий тематический раздел открывают рефераты статей, посвященные новым формам социальных связей в современных обществах.

В статье сотрудников Туринского университета П.П. Вьяццо и Х. Гонсалеса Диеса анализируется проблема трансформации института семьи и родственных связей в Италии. Показано, что сегодня приоритетными становятся «гибкие» связи, формирующиеся под влиянием личных потребностей или складывающихся обстоятельств. Например, все больше получают распространение случаи, когда формальная степень родства не совпадает с реальными отношениями между родственниками (например, дальние родственники заменяют более близких и т.п.). В свою очередь, в работе М. Десмонда (Гарвардский университет) описывается феномен кратковременных, одноразовых (в отличие от родственных) социальных связей как стратегии выживания, которая практикуется в повседневной жизни представителями городской бедноты.

Значительная часть рефератов предлагаемой читателю тематической подборки посвящена жизненным стилям, складывающимся под воздействием индивидуальных особенностей поведения и мышления человека и помогающим ему гармонично «взаимодействовать» с окружающей действительностью.

М. Лукас (Вуппертальский институт климата, окружающей среды и энергии, Германия), опираясь на идеи устойчивого потребления, анализирует различные аспекты экологичного образа жизни, характеризующегося сознательным стремлением к ограничению потребностей и снижению запросов. Тему потребления продолжает совместная работа голландских исследователей Й. Мандемакерса и А. Рутерс, в которой они прослеживают, как на протяжении трех десятков лет менялись пищевые привычки и практики приготовления еды жителей Нидерландов. По мнению авторов статьи, чем больше времени люди проводят на кухне и за обеденным столом, тем выше вероятность, что еда будет качественной и здоровой и тем больше у них будет возможностей для общения с близкими. Между тем результаты исследования, проведенного в 1975–2005 гг., свидетельствуют об общем снижении времени, затрачиваемого как на приготовление, так и на потребление пищи.

Датский социолог Б. Ширмер анализирует феномен хипстеризма в западной культуре позднего модерна. Ученый подчеркивает, что хипстеризм не укладывается в стандарты классической субкультурной модели и представляет собой что-то вроде «экспертизы жизненных стилей». Большинство хипстеров имеет высокий социальный статус и принадлежит к авангарду среднего класса. Также, по словам Б. Ширмера, хипстер-культуру нельзя относить к культуре протеста: она в большей степени направлена на сохранение аутентичных артефактов культуры, утративших былую популярность.

Статья Д. Бартмански (Берлинский технический университет) и И. Вудворда (Университет Южной Дании) развивает тему защиты и сбережения объектов, представляющих собой так называемые культурные иконы. На примере виниловой пластинки показано, как, спустя годы, подобные артефакты буквально обретают вторую жизнь, играя особую роль в самоидентификации их почитателей и становясь элитарным товаром.

Новые технологии прочно вошли в жизнь современного человека: то, что еще вчера казалось невероятным, сегодня стало обыденностью. Но действительно ли мы правильно воспринимаем вещи, которые нас окружают? Завершают тематический раздел работы, в рамках которых читателю предлагается взглянуть на, казалось бы, хорошо известное под другим – непривычным – углом зрения.

В статье Э. Прибыльски и Н. Вайнштейн из Эссекского университета представлен анализ экспериментального изучения современных средств связи как особых факторов межличностной коммуникации. В частности, ими убедительно доказано, что мобильные телефоны являются не только средством социализации и развлечения, но и выполняют другие – имплицитные – функции. Так, одно визуальное присутствие мобильных телефонов в момент личного разговора оказывает существенное, зачастую негативное, влияние на качество общения собеседников.

В свою очередь, британский исследователь Н. Ллевеллин призывает серьезнее отнестись к наметившемуся сегодня переходу к повсеместной безналичной оплате: по его мнению, это может грозить человечеству определенными потерями. Для того чтобы понять, что именно в этом случае утратит общество, необходимо, считает Ллевеллин, как можно полнее разобраться в специфике коммуникативной и символической роли наличных.

Подводя итоги, отметим высокую степень актуальности социологии образа жизни как одной из отраслей социологической науки. На наш взгляд, сложно получить более точное знание об обществе, чем то, что дает информация о стилях, стратегиях и образе жизни членов этого общества. Исследователям лишь надо стараться оперативно реагировать на стремительные изменения социальной среды.

2017.01.001. ВЬЯЦЦО П.П., ГОНСАЛЕС ДИЕС Х. «НОВЫЕ ФОРМЫ СЕМЬИ» В ИТАЛИИ: ОТ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СБЛИЖЕНИЯ К КУЛЬТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.
VIAZZO P.P., GONZÁLEZ DÍEZ J. Les «nouvelles formes de famille» en Italie: Entre convergences morphologiques et persistances culturelles // Ethnologie française. – P., 2016. – Vol. 162, N 2. – P. 219–228.

Ключевые слова: семья; демографический переход; родственные связи; родство.

В статье сотрудников Туринского университета Пьеро Паоло Вьяццо и Хавьера Гонсалеса Диеса анализируется трансформация института семьи в Италии. Нуклеаризация семьи в первой половине XX в. повлекла за собой процессы, которые никак не совпадали с прогнозами исследователей: снизилось значение брака; измени-

лись формы семьи; в ответ на вызовы времени претерпели изменения родственные связи, возникли их новые виды. В статье содержится обзор современных исследований, посвященных данной проблеме.

В 1960-е годы Италия преодолела свое отставание от развитых стран Европы по продолжительности жизни и показателям рождаемости. Социальные аналитики ожидали, что на протяжении второй половины XX в. в Италии, как и в большинстве европейских стран, утвердится нуклеарный тип семьи, а темпы прироста населения будут минимальны. Предполагалось, что трансформация семьи в эпоху позднего модерна породит разрыв привычных родственных связей[1], но при этом брак сохранит свое ключевое значение, несмотря на вероятность внутренних изменений; в целом родственные отношения примут более уравновешенный и симметричный характер. Тем не менее снижение уровня смертности и рост продолжительности жизни в странах Южной Европы превысили ожидаемые темпы. Более того, рождаемость в Италии, где традиционно преобладали большие семьи, снизилась до уровня, который не обеспечивает даже простого воспроизводство населения (до показателя 1,3–1,4 ребенка у одной женщины в 2008 г.), не оправдав предполагавшегося «нулевого роста»[2] [с. 220].

На протяжении двух последних десятилетий исследователи обсуждают вопрос о том, происходит ли в Италии «второй демографический переход», о котором писали Д. ван де Каа[3] и Р. Лестег[4]. Ряд аналитиков (Р. Паломба, Дж. Микели, Дж. Далла-Зуанна, Л. Руссель) не видят признаков этого процесса в сегодняшней Италии, отмечая, в частности, меньшее по сравнению с другими западноевропейскими странами число детей, рожденных вне брака, а также стремление молодежи в более позднем возрасте покидать

[1] Shorter E. The making of the modern family. – L.: Fontana Collins, 1977.

[2] Под нулевым ростом населения в демографии понимают состояние, при котором число смертей в популяции приблизительно совпадает с числом рождений, что позволяет населению воспроизводить само себя без иммиграции. – *Прим. реф.*

[3] Van de Kaa D.J. Europe's second demographic transition // Population bull. – Wash., 1987. – Vol. 42, N 1. – P. 1–57.

[4] Lesthaeghe R. The second demographic transition in Europe: An interpretation. – Brussel: Vrije univ., 1991.

родительский дом и выбирать собственное жилье рядом с домом родителей, поддерживая с ними тесные отношения. Эти наблюдения дали основания усомниться в справедливости предположения о формирования единой модели европейской семьи в современную эпоху и выдвинуть гипотезу о существовании «итальянского пути» в рамках «второго демографического перехода»[1].

Между тем сходные семейные практики, которые сегодня имеют место в Италии, Греции, Португалии и Испании, позволяют говорить о сложившейся общей средиземноморской модели семьи, обусловленной культурными факторами[2]. Другие исследователи отмечают ведущие к упадку семьи тенденции[3], в рамках которых происходят увеличение случаев сожительства вне брака и числа внебрачных детей по сравнению с прошлым веком (2,4% в 1960, 9,7 – в 2000, 25% в 2012 г.)[4], а также рост количества сводных[5] и неполных семей[6]. Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод о том, что страна все же переживает второй демографический переход. Таким образом, замечают авторы статьи, ценности постмодерна распространились на юг, формируя домашние и семейные модели, уже присутствующие на севере, но новые для Италии [с. 221]. Вместе с тем последние исследования свидетельствуют о неоднозначности происходящих трансформаций; в частности оказалось, что различия между женатыми и сожительствующими парами несущественны как в отношении частоты родственных контактов, так и в плане межпоколенческих взаимодействий и

[1] Dalla Zuanna G., Castiglioni M. Una «via italiana» alla transizione? // La società del figlio assente: Voci a confronto sulla seconda transizione demografica / A cura di G.A. Micheli. – Milano: Franco Angeli, 1995. – P. 48–72.

[2] Reher D.S. Family ties in Western Europe: Persistent contrast // Population a. development rev. – N.Y., 1998. – Vol. 24, N 2. – P. 203–234.

[3] Rosina A., Fraboni R. Is marriage losing its centrality in Italy? // Demographic research. – Rostock, 2004. – Vol. 11. – P. 149–172.

[4] Gabrielli G., Hoem J.M. Italy's non-negligible cohabitational unions // European j. of population. – Amsterdam, 2008. – Vol. 26, N 1. – P. 33–46.

[5] Сводной называют семью, в которой как минимум один из супругов имеет детей от предыдущего брака, проживающих вместе с ним или поблизости. – *Прим. реф.*

[6] Zanatta A.L. Le nuove famiglie. – Bologna: Il Mulino, 2008.

интенсивности их проявлений[1]. С учетом сказанного Вьяццо и Гонсалес Диес делают вывод о том, что на фоне морфологических тенденций к сближению типов семьи в европейских странах (сожительство; формы проживания, отличные от нуклеарной семьи) различия в системах ценностей сохраняются на национальном уровне.

Появление новых вариантов партнерских союзов, форм сожительства, типов родственных отношений, а также рост числа распавшихся и затем воссоединившихся семей дают основания говорить о переходе от нуклеарной семьи к неопределенной, или нечеткой семье (unclear family; термин антрополога Б. Симпсона)[2]. В Италии реакцией на этот процесс стало жесткое осуждении со стороны церкви и папы любых вариантов семьи, кроме моногамной, что вызвало живую реакцию итальянских антропологов (Ф. Ремотти, П. Солинас) и способствовало повышению интереса к проблеме.

Авторы статьи подчеркивают, что трансформация семьи тесно связана с процессом изменения родственных отношений, который они рассматривают в качестве формы социокультурных инноваций, вызванных демографическими, экономическими, институциональными и культурными факторами (количественное уменьшение родственных сетей в связи со снижением рождаемости, старение населения, ослабление системы социальной защиты). В ситуации, когда семья вынуждена в одиночку справляться с проблемами, в том числе и с теми, что вызваны экономическим кризисом, варианты совместного проживания должны соответствовать вызовам времени. Размывание прежних четких очертаний семьи и появление ее

[1] Micheli G.A. Two strong families in Southern Europe? Re-examining the geography of kinship regimes stemming from the reciprocity mechanisms between generations // European j. of population. – Amsterdam, 2012. – Vol. 28, N 2. – P. 17–38; Nazio T., Saraceno Ch. Does cohabitation lead to weaker intergenerational bonds than marriage? A comparison between Italy and the United Kingdom // European sociological rev. – Oxford, 2013. – Vol. 29, N 3. – P. 549–564; Castiglioni M., Dalla Zuanna G. Spread of cohabitation and proximity between kin in contemporary Italy // J. of family history. – Thousand Oaks (CA), 2014. – Vol. 39, N 4. – P. 422–444.

[2] Simpson B. Bringing the «unclear» family into focus: Divorce and re-marriage in contemporary Britain // Man. – L., 1994. – Vol. 29, N 4. – P. 831–851.

новых вариантов оказываются, таким образом, ответом на требования современного общества и государства.

Один из путей трансформации современной семьи – это расширенное толкование родственных связей, вплоть до возникновения фиктивного родства (fictive kinship). Исследования антропологов показывают, что сегодня родственные роли не являются четко закрепленными и могут активироваться в зависимости от потребностей и ситуаций[1]. В рамках формальных родственных отношений человек должен произвольно выстроить и подтвердить эти отношения, в противном случае он может быть вычеркнут из родственного круга. Этот процесс является частью более масштабного феномена «утраты родства» (kin loss)[2]. В Италии данное явление обусловлено целым спектром причин: снижение рождаемости и сокращение количества родственников; нечеткое определение ролей в родственных сетях, чреватое трудноразрешимыми конфликтами и вероятностью разрывов и потерь; матримониальная нестабильность, провоцирующая разводы и разрыв отношений; бóльшая пространственная мобильность, осложняющая совместное проживание и поддержание родственных связей; стремление членов семьи и партнеров к независимости от родных.

В случае, когда родственным связям грозит опасность «утраты родства», в западноевропейских странах, в том числе в Италии, практикуются те или иные стратегии реинтеграции и реинтерпретации. Исследователи выделяют четыре вида подобных стратегий[3]. Первые два – замена родственных статусов (kin exchange) и повышение родственного статуса (kin promotion) – схожи между собой и подразумевают случаи, когда формальная степень родства не совпадает с реальными отношениями между родственниками (дальние родственники исполняют функции более близких – например, тетя или старшая сестра в роли матери, кузен в роли брата, бабушка с дедушкой в роли родителей). Следующая стратегия – сохранение родства (kin retention) – предполагает поддержание родственных

[1] Carsten J. After kinship. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004; Sahlins M. What kinship is – and is not. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2013.

[2] Allen K.R., Blieszner R., Roberto K.A. Perspectives on extended family and fictive kin in the later years: Strategies and meanings of kin reinterpretation // J. of family issues. – Thousand Oaks (CA), 2011. – Vol. 32, N 9. – P. 1156–1177.

[3] Ibid.

связей, возникших вследствие брака или сожительства, после распада партнерского союза (например, невестка продолжает помогать родителям бывшего супруга). Эта стратегия, направленная на минимизацию ущерба от учащающихся разрывов между партнерами, чрезвычайно актуальна для Италии, где режим государственной социальной поддержки опирается на существующие родственные связи. Стремление к сохранению родства перекликается со стратегией неродственной конверсии (nonkin conversion), в рамках которой люди, не являющиеся биологическими или законными родственниками, исполняют обязанности и приобретают права последних. Эта стратегия характерна для самых разных жизненных ситуаций, как правило, связанных с помощью и попечением (например, отношения сиделки с пожилым человеком или положение няни в семье).

Реинтерпретация родственных отношений и их расширенное толкование наблюдаются и в других контекстах: совместное проживание (co-housing), соседство, дружеские отношения. Общее для подобных практик в Италии – «социальное новаторство, позволяющее им выполнять функции солидарности и взаимопомощи, которые в средиземноморском мире в основном возлагаются на семейную сферу – в отличие от севера Европы, где они скорее являются прерогативой системы социальной защиты» [с. 224]. Таким образом, если на севере Европы фиктивное родство несет в основном психологическую нагрузку, то в Италии более существенной оказывается его функция оказания помощи.

Применительно к Италии общеевропейская тенденция к переходу от нуклеарной семьи к неопределенной является, по мнению Вьяццо и Гонсалеса Диеса, скорее формальной, чем сущностной. При отсутствии достаточной государственной социальной помощи и поддержки эти задачи ложатся главным образом на семью, в какой бы форме она ни существовала. Понятие «дисфункциональные семьи»[1] как раз отражает дефицит традиционного функционального соответствия между формой семьи и структурой общества. Сегодня приоритетными становятся связи, свободно формирующиеся в ответ на разнообразные потребности и ситуа-

[1] Reher D.S. Sistemas familiares en América Latina: Lectio magistralis au collique *Familias y redes sociales: Etnicidad, movilidad y marginalidad en el mundo atlántico*. – Sevilla, 14 nov. 2014.

ции. Актуальным оказывается «сохранение сильных связей при отсутствии структуры», т.е. «культурно обусловленные моральные обязательства, которые в будущем смогут хотя бы отчасти опираться на родственные сети, пусть даже “фиктивные”, но являющиеся в большей мере плодом необходимости, чем выбора» [с. 225].

Е.Л. Ушкова

2017.01.002. ДЕСМОНД М. ОДНОРАЗОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ГОРОДСКАЯ БЕДНОТА.
DESMOND M. Liens jetables et pauvreté urbaine // Communications. – P., 2016. – Vol. 98, N 1. – P. 67–80.

Ключевые слова: одноразовые связи; сильные связи; слабые связи; родственные сети; жизненные стратегии бедного городского населения.

Мэтью Десмонд (Гарвардский университет, г. Кембридж, США) вводит понятие одноразовых социальных связей (отличных от описанных М. Грановеттером[1] сильных и слабых связей) как стратегии преодоления жизненных трудностей, которую применяют в повседневной жизни бедные слои городского населения.

Популярная социологическая гипотеза, касающаяся способов выживания городской бедноты, делает акцент на помощи близких людей (родные, друзья), которые не откажут в случае крайней нужды. Автор ссылается на классическое исследование Кэрол Стэк, где описана система взаимной поддержки в афроамериканских семьях[2]. В то же время более поздние исследования ставят под сомнение значимость подобных отношений, отмечая преобладание в них недоверия и сдержанности[3]. Возможно, замечает Десмонд, это связано с ухудшением ситуации в кварталах городской бедноты в

[1] Granovetter M. Strength of weak ties // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1973. – Vol. 78, N 6. – P. 1360–1380.

[2] Stack C. All our kin: Strategies for survival in a black community. – N.Y.: Basic books, 1974.

[3] Smith S.S. Lone pursuit: Distrust and defensive individualism among the black poor. – N.Y.: Russell Sage foundation, 2007; Miller-Cribbs J., Farber N. Kin networks and poverty among African Americans: Past and present // Social work. – Silver Spring (MD), 2008. – Vol. 53, N 1. – P. 43–51.

результате политики жесткой экономии, свертывания программ муниципального жилья и общего ослабления системы социальной помощи на протяжении последних четырех десятилетий. В условиях массовой безработицы, невозможности прожить на зарплату уборщицы, охранника, сотрудника Макдональдса, на пособие одиноким матерям, на доходы от нелегальной деятельности (проституция, наркоторговля) как никогда важны семейная поддержка и взаимовыручка.

В своей работе Десмонд использовал методы полевого этнографического исследования и включенного наблюдения. Он провел год в городе Милуоки (штат Висконсин) на стоянке жилых автоприцепов, где проживали преимущественно белые, и в городском квартале, где преобладали афроамериканцы. В центре его внимания были люди, которым грозило выселение. Автор анализирует обстоятельства и причины, которые препятствовали получению нуждающимися помощи от близких. Все они обращались к родственникам за той ли иной поддержкой, но тем не менее в поисках самого необходимого (еда, жилье, присмотр за детьми) они отдавали предпочтение одноразовым связям. При этом все остро нуждающиеся так или иначе были включены в сеть близких людей, состоящую из горизонтальных (индивиды, занимающие аналогичное социально-экономическое положение) и вертикальных (индивиды, занимающих иное положение) связей. В случае активации горизонтальных связей наблюдались следующие ситуации, когда близкие не могли или не хотели оказать помощь нуждающимся: эти связи могли отсутствовать; близкие были столь же бедны либо находились в затруднительном положении; у них существовали юридические или иные причины для отказа (условно-досрочное освобождение, сопровождающееся полицейским надзором; аналогичная угроза выселения). Поэтому гостеприимство для близких было либо невозможно, либо угрожало их собственному материальному положению. Что касается вертикальных связей, то для обитателей бедных кварталов они представляют ценный капитал: их используют в самых крайних случаях или держат «про запас» как своеобразный «социальный лифт». К тому же обращение к состоятельным родственникам ущемляет самолюбие людей.

Одноразовые социальные связи (liens jetables) автор определяет как отношения, которые складываются между людьми, знако-

мыми недавно; для таких связей характерны стремительность сближения, чрезвычайно тесное общение, взаимный обмен ресурсами и непродолжительность. Способы формирования одноразовых связей и их социально-пространственная локализация отличаются большим разнообразием. Институты, осуществляющие социальное обслуживание бедного населения (организации, центры, приюты, общежития), становятся местом контактов и знакомств людей, находящихся в затруднительном положении, что выступает главным фактором их объединения. Часто сближение бывает очень быстрым; фактически после одного дня знакомства люди могут принять решение о совместном проживании.

Одноразовые связи подразумевают общее использование предметов бытового обихода и взаимность услуг: общее жилье; денежная взаимовыручка; обмен необходимыми вещами (одежда, игрушки), транспортными картами; поочередное приготовление пищи и присмотр за детьми; секс-партнерство; обмен информацией о пособиях и рабочих местах и т.п. Для обозначения степени своей близости субъекты одноразовых связей прибегают к таким выражениям, как «лучшие друзья», «сестры», «жених и невеста». Ласковые прозвища призваны поддерживать иллюзию близости между новыми знакомыми, придавать их союзу ощущение стабильности. Общим для одноразовых связей является то обстоятельство, что они объединяют людей, переживающих крайне тяжелый жизненный период, обремененных серьезными материальными проблемами или ставших жертвами психологической травмы. Это способствует взаимопониманию и ощущению сопричастности бедам другого.

Обычно одноразовые связи – это краткосрочные отношения (от нескольких недель до нескольких месяцев); они часто заканчиваются ссорой и окончательным разрывом. Порой такие связи трансформируются в отношения, подобные слабым связям: какое-то время остаются неактивными, потом возобновляются; в редких случаях они перерастают в дружбу. Механизм разрушения одноразовых социальных связей коренится в том, что крайне близкие, а следовательно, требовательные отношения, возникающие между случайными людьми, всегда непрочны, считает Десмонд. Поводом для разрыва становится внешнее давление или экстремальные обстоятельства, свойственные образу жизни обитателей бедных кварталов.

Осмысление одноразовых социальных связей позволяет нарисовать следующую картину, резюмирует свои наблюдения американский социолог. Длительное время ученые трактовали личные сети как совокупность связей различной силы. Марк Грановеттер полагал, что «сила связи является результатом сочетания… проведенного вместе времени, эмоциональной интенсивности, близости (взаимной откровенности) и взаимного обмена услугами» [цит. по: с. 76]; в соответствии с этими параметрами он выделял сильные и слабые связи[1]. Десмонд, в свою очередь, задается вопросом, являются ли одноразовые связи разновидностью связей слабых, и отвечает на него отрицательно. Прежде всего, одноразовым связям свойственен высокий уровень эмоциональной интенсивности и требовательности друг к другу, взаимный обмен благами и услугами, что характерно именно для сильных связей. Слабые связи часто выполняют функцию «мостика» между социальными группами, что не свойственно связям одноразовым, не предоставляющим возможностей для социальной мобильности. К тому же их основной характеристикой является «одноразовость», тогда как любые другие связи (и сильные, и слабые) отличаются той или иной степенью продолжительности, так что разрыв представляет для них реальную угрозу. Более того, контекст одноразовых связей лишен пропорциональности между их краткосрочностью и высоким уровнем взаимной требовательности и ожиданий партнеров. В соответствии с концепцией Грановеттера, от сильных связей ждут более ощутимой помощи, а от слабых – менее обязательного и существенного, но все же ценного содействия (например, в трудоустройстве). В ситуациях, когда помощь становится жизненно необходимой, в кварталах городской бедноты сильные связи трактуются как слабые, а одноразовые выступают в роли сильных. Таким образом, одноразовые социальные связи нельзя отнести ни к слабому, ни к сильному типу. Они «соединяют в себе диаметрально противоположные характеристики... и бинарная оппозиция... между сильными и слабыми связями неприменима к данному случаю» [с. 77].

В заключение М. Десмонд подчеркивает, что его исследование представляет собой альтернативу работе К. Стэк, поскольку оно объясняет выживание бедных в городской среде за счет одно-

[1] Granovetter M. Strength of weak ties // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1973. – Vol. 78, N 6. – P. 1360–1380.

разовых, а не родственных связей, т.е. преодолевает дихотомию «жесткая встроенность в сеть близких / полное одиночество и индивидуализм». Кроме того, понятие одноразовых социальных связей в дополнение к уже известным категориям сильных и слабых связей способствует более объемному пониманию социальных реалий сегодняшнего дня, а именно процесса функционирования сетей взаимоотношений в беднейших кварталах и стратегий преодоления жизненных трудностей представителями малоимущих слоев городского населения.

Е.Л. Ушкова

2017.01.003. ЛУКАС М. УСТОЙЧИВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И «ПРОСТЫЕ» ЖИЗНЕННЫЕ СТИЛИ: КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
LUKAS M. Nachhaltiger Konsum und simplifizierte Lebensstile: Welche Perspektiven zeigen sich im Alltag? // Haushalt in Bildung u. Forschung. – Leverkusen, 2013. – H. 3. – S. 43–58.

Ключевые слова: устойчивое потребление; потребительское поведение; домохозяйство.

Мелани Лукас (Вуппертальский институт климата, окружающей среды и энергии, Германия) в своей статье размышляет о роли таких явлений, как *устойчивость* и *достаточность*, в повседневном потребительском поведении. В качестве практического приложения данных вопросов она рассматривает перспективы различных трендов и экологических инициатив.

В большинстве своем люди, утверждает в начале статьи автор, стремятся к благополучию, духовному и материальному благосостоянию, однако в современных условиях представления о благосостоянии требуют пересмотра. Все большую популярность завоевывает идея, согласно которой экономический рост должен смениться экономикой достаточности. Тем не менее по-прежнему превалирует неоклассическое определение благосостояния, основывающееся на постоянно растущем доходе, что предполагает и использование все новых природных ресурсов[1]. В то же время при-

[1] См.: Lettenmeier M., Liedtke C., Rohn H. Eight tons of material footprint // Resources. – Basel, 2014. – Vol. 3, N 3. – P. 488–515. (На момент написания статьи – в печати. – *Прим. реф.*)

рода заявляет о себе климатическими изменениями, ростом стихийных бедствий и пр. По словам автора, необходимо видеть общую картину, быть чувствительным к различным явлениям как в своей местности, так и на другом конце света, устанавливать связи между ними – иными словами, мыслить одновременно глобально и локально. Одним из способов поддержания подобного мировосприятия может стать стремящийся к большей простоте образ жизни и, соответственно, устойчивое потребление, т.е. потребление на основе модели устойчивого развития.

Г. Шульце описывает современное общество как «общество индивидуальных переживаний», в котором потребление выполняет функцию ориентации[1]. Согласно данному автору, в современном обществе потребление выходит за пределы обыденных покупок. В частности, покупка аксессуаров для любимого занятия становится частью хобби. Более того, шоппинг в целом может наделяться значением развлечения и превращаться в вид досуга.

В представлении Лукас идеи устойчивого потребления мотивируют индивидов на рациональное потребительское поведение, оправданное по экологическим, социальным и экономическим соображениям. В 1980–1990-е годы потребление экологической продукции требовало изменения всех потребительских привычек, тогда как в настоящее время достаточно из существующего ассортимента выбрать вегетарианские продукты либо биопродукты. Стремление к более экологичному образу жизни сейчас является социально приемлемым[2].

Одним из наиболее популярных направлений экологичного поведения является так называемый простой жизненный стиль (варианты наименования – «простая жизнь», «добровольная простота», «антипотребительство» («антиконсьюмеризм»), «минимализм», дауншифтинг и пр.)[3]. Подобная жизненная стратегия предполагает

---

[1] Schulze G. Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. – 2. Aufl. – Frankfurt a. M.: Campus, 2005.

[2] Cherrier H., Black I.R., Lee M. Intentional non-consumption for sustainability // European j. of marketing. – Bingley, 2011. – Vol. 45, N 11–12. – P. 1757–1767.

[3] См., например: Alexander S. Property beyond growth: Towards a politics of voluntary simplicity: PhD thesis. – Melbourne: Univ. of Melbourne, 2011; Schreurs J., Martens P., Kok G. Living with less as a transformation process: A qualitative study of consumer behavior reform through spending reduction // Qualitative market research: An international j. – Bingley, 2012. – Vol. 15, N 2. – P. 188–205.

пересмотр индивидуальных ценностей и выливается в ограничение потребностей и снижение запросов[1]. Ряд авторов считают ориентацию на упрощенный образ жизни более чем актуальной, поскольку «прежние кризисы были связаны с недостатком, нынешний же кризис – это кризис переизбытка»[2]. Вместе с тем, предупреждает Лукас, переход к такому образу жизни – отнюдь не простое предприятие; в частности, возможно пересечение различных моделей поведения. С ее точки зрения, необходимо согласие между желаниями и поступками, открытость переменам, а также чувство справедливости, ориентация на защиту окружающей среды, как и убежденность в том, что ограничение потребления означает повышение качества жизни, и не в последнюю очередь – гибкость в повседневном поведении.

В 1980-е годы, напоминает автор, сформировалось представление о том, что окружающая среда нуждается в защите. Притом что идея заботы об окружающей среде так или иначе по-прежнему импонирует всем индивидам, выбирающим «простой» образ жизни и сокращающим собственное потребление, их мотивы как таковые могут быть различными. Одни хотят стать здоровее, другие таким образом реализуют стремление к большей справедливости в мире, третьи считают, что так в большей мере контролируют свою жизнь и сами принимают важные решения. Многие полагают, что если продукция произведена ими самими, знакомыми им людьми либо небольшими местными компаниями, то они могут быть уверены в ее качестве. В США, например, популярны такие явления, как DIY, домашнее производство продуктов питания, совместное пользование и обмен одеждой и другими товарами, экологическое строительство (строительство экологичного жилья под заказ) и т.п.[3] Ведущие направления в данной сфере, как указывает автор, – это собственное производство, коллективное пользование и продвижение альтернативной региональной экономической модели. Она

[1] Jermier J., Lafferty B. Theorizing the holistic voluntary simplification lifestyle: Paper presented at the SCORAI conference. – Worchester (MA): Clark univ., 2013. – June 12–14.

[2] Graham C. The pursuit of happiness: An economy of well-being. – Wash.: Brookings institution press, 2011. – P. 140.

[3] Schor J. True wealth: How and why millions of Americans are creating a time-rich, ecologically light, small-scale, high-satisfaction economy. – L.: Penguin, 2011.

приводит в пример четыре действующих в Германии проекта и размышляет об их экологическом и социальном воздействии.

• **Kleiderkreisel.de** (с 2009 г.) – национальный интернет-ресурс для обмена одеждой; экологический эффект: спорный (необходима частая стирка, что наносит вред окружающей среде); социальное воздействие: объединение энтузиастов данного движения и предоставление им площадки для общения.

• **Инициативы CSA** (Community supported agriculture) (с 1960-х годов) – экологические сельскохозяйственные предприятия, поддерживаемые местным активом; экологическая перспектива: отказ от минеральных удобрений, близкая доставка позволяет сократить вредные выбросы (в то же время использование в этих целях частного транспорта не является лучшим экологическим решением); социальная перспектива: проведение фестивалей и других мероприятий соответствующего интереса для местной общины, развитие вкуса к экологическим продуктам.

• **Urban Gardening** («городское садоводство») (восходит к началу XX в.) – использование городских площадей для разведения овощей и фруктов; экологическое воздействие: создание местного источника производства и потребления; повышение городского биоразнообразия; социальное воздействие: основа для общения местных жителей, возрождение традиционных методов садоводства.

• **DaWanda** (с 2006 г.) – (глобальный) интернет-портал, представляющий продукцию собственного производства частных лиц; экологический аспект: распространение качественной продукции, большей частью сделанной своими руками из натуральных материалов; социальный аспект: поддержка частных производителей, преодоление негативных сторон массового производства вроде плохих условий труда и пр.

Важной составляющей устойчивого потребления, отмечает автор, является частное домохозяйство. В его рамках происходит распределение деятельностного потенциала членов семьи, а доходы направляются на решение потребительских и инвестиционных задач. Экологическое потребление может быть сопряжено с непростыми решениями, требующими поиска информации, оценки альтернатив, последующего контроля. Когда сделан выбор в пользу той или иной модели поведения, она стабилизируется и ей в дальнейшем следуют члены семьи. Домохозяйство представляет собой

очаг социализации и школу социальных и культурных навыков; здесь определяются мотивации и формируются потребительские предпочтения.

В следующей части статьи автор характеризует перспективы и потенциальные преграды на пути устойчивых и достаточных потребительских и жизненных стилей. Как она указывает, нередко препятствием становятся повседневные структуры и рутинные практики. Подчас потребители скептически относятся к экологическим инициативам; затраты на реализацию более экологичного образа жизни представляются им излишне высокими, а личная выгода крайне низкой. На индивидов, полагает О. Штенгель[1], в данном случае оказывают влияние два основных фактора – культура (которая им сообщает материалистическую картину мира и индивидуалистические ценности, такие как независимость, самореализация, успех) и соответствующие социальные нормы (согласно которым люди и осуществляют свою деятельность). Часто устойчивое потребление не превращается в стабильную практику. Привезя домой на велосипеде с рынка выходного дня фермерские продукты в воскресенье, в понедельник индивид пересаживается на автомобиль и перекусывает в ресторане быстрого питания. Многие авторы придерживаются мнения, что долгосрочный эффект будет обеспечен в том случае, если индивиды увидят в новом образе жизни какую-то пользу для себя. Причем речь не обязательно идет о материальной выгоде – это может касаться времени, свободы, комфорта, статуса и т.п. Тем самым детерминантами устойчивого потребления будут выступать осознание собственного вклада, прозрачность экологических проектов и положительный баланс выгод по отношению к убыткам[2].

Далее автор вновь возвращается к упоминавшимся выше четырем экологическим инициативам и анализирует их потенциал в соответствии с данными детерминантами.

• **Kleiderkreisel.de**. Вклад: незначительный (участники необязательно осознают экологическую пользу данного предпри-

[1] Stengel O. Suffizienz: Dissertation. – München: Oekom, 2011.

[2] Bilharz M. «Key Points» nachhaltigen Konsums: Ein strukturpolitisch fundierter Strategieansatz für die Nachhaltigkeitskommunikation im Kontext aktivierender Verbraucherpolitik. – München: Oekom, 2008. – Bd. 4: Wirtschaftswissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung.

ятия). Прозрачность: низкая (рассмотреть вещь удается только после покупки). Выгода: высокая (продаются вещи со значительными скидками). Содействие устойчивому потреблению и упрощению жизненного стиля домохозяйства: незначительное.

• **Инициативы CSA**. Вклад: значительный (участники поддерживают данную инициативу всеми доступными, в том числе финансовыми, средствами). Прозрачность: высокая (благодаря территориальной близости потребители знакомы с производителями). Выгода: средняя (мелкая розничная торговля может не приносить больших доходов, и товары продаются по не самым низким ценам). Содействие устойчивому потреблению в домохозяйстве: значительное (высокая оценка экологичного образа жизни, натуральных продуктов и «чистого» сельского хозяйства; возрождение традиционных аграрных технологий).

• **Urban Gardening**. Вклад: значительный (предполагается личное участие). Прозрачность: высокая (участники вовлечены в процесс на всех этапах от посадки до сбора урожая). Выгода: средняя (зависит от вложений, урожая и т.д.). Содействие устойчивому потреблению в домохозяйстве: значительное (требуется установка на более экологичный стиль жизни; совершенствуются садоводческие знания и навыки).

• **DaWanda**. Вклад: незначительный / средний (индивидуальные вложения минимальные). Прозрачность: высокая (профили производителей содержат детальную информацию о них). Выгода: невысокая (по сравнению с продукцией массового производства). Содействие устойчивому потреблению: значительное (хотя об изменении образа жизни в домохозяйстве говорить не приходится).

При этом экологические инициативы часто остаются на уровне региона или отдельного сообщества. Лишь став по-настоящему модными и социально востребованными, эти практики приобретут, по мнению автора, действительно широкое распространение, и ей представляется, что сейчас как раз тот момент, когда это становится возможным. Свою роль в данном процессе должны сыграть частные домохозяйства как пространства деятельности и социализации. В целом, полагает М. Лукас, необходимо добиться смягчения материалистических тенденций, и основой реализации актуальных трендов могут стать экологические ини-

циативы, каждая из которых должна быть проанализирована и по возможности усовершенствована.

Я.В. Евсеева

2017.01.004. МАНДЕМАКЕРС Й., РУТЕРС А. ФАСТФУД ИЛИ СЛОУФУД? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЛЮДИ ТРАТЯТ НА ЕДУ: ОБЪЯСНЯЯ ТРЕНДЫ В НИДЕРЛАНДАХ В 1975–2005 гг.
MANDEMAKERS J., ROETERS A. Fast or slow food? Explaining trends in food-related time in the Netherlands, 1975–2005 // Acta sociologica. – L., 2015. – Vol. 58, N 2. – P. 121–137.

Ключевые слова: еда; потребление; фастфуд; слоуфуд; использование времени; Нидерланды.

Йорнт Мандемакерс (Вагенингенский университет, Нидерланды) и Анна Рутерс (Утрехтский университет, Нидерланды) прослеживают, как на протяжении трех десятков лет менялось время, которое жители Нидерландов тратили на приготовление и принятие пищи, а также насколько часто они ели в ресторанах и других предприятиях общественного питания либо покупали готовую еду, не требующую приготовления. Результаты приведенного авторами статьи опроса, посвященного использованию времени в Нидерландах (DTUS, Dutch time use survey, нидерл. Tijdsbestedingsonderzoek, 1975–2005 гг.; в целом участие в нем принял 13 421 респондент), свидетельствуют об общем снижении времени, затрачиваемом как на приготовление, так и на потребление пищи; единственное исключение составили женатые мужчины: для этой группы характерно увеличение времени, посвящаемого приготовлению еды.

По словам авторов, еда находится в ряду наиболее значимых человеческих практик, и вопрос о том, сколько времени люди тратят на приготовление и употребление пищи, имеет важные социальные и медицинские аспекты. Чем больше времени люди проводят на кухне и за обеденным столом, тем выше вероятность, что еда будет качественной и здоровой и тем больше у них будет возможностей для общения с близкими людьми [с. 121–122]. С ростом популярности фастфуда в западных странах наметилось сокращение времени на приготовление и потребление пищи. Тем не менее в последние десятилетия кулинария стала достаточно популярным хобби, и, кроме того, распространяются идеи здорового питания.

Авторы задаются вопросом: будет ли фастфуд завоевывать все новых приверженцев или же мы скорее движемся к обществу, в котором будет доминировать слоуфуд?

Как утверждают авторы, их статья расширяет существующие исследования в следующих направлениях. Во-первых, в известных им работах время, так или иначе связанное с едой, рассматривается либо как часть работы по дому, либо как досуговая практика, либо как забота о себе и близких[1]. В свою очередь, Мандемакерс и Рутерс видят в ней специфическое явление, выходящее за границы традиционных временны́х категорий. Во-вторых, в анализируемых процессах авторы выделяют композиционные и поведенческие изменения. Под композиционными изменениями они понимают крупные структурные трансформации, меняющие состав населения (такие как радикальное увеличение числа женщин на рынке труда), в то время как поведенческие изменения представляют собой иные, неструктурные модификации (например, рост популярности слоуфуда). Кроме того, авторы настоящей статьи проводят различие между пищевыми практиками в будни и в выходные, соответственно, а также принимают во внимание фактор гендера.

Описывая теоретическую рамку своего исследования, Мандемакерс и Рутерс указывают на по-прежнему небольшой объем исследований по данной теме. Из существующих работ, в частности, известно, что женщины тратят на приготовление пищи больше времени, чем мужчины; среди других факторов, увеличивающих время, затрачиваемое на готовку, отмечают старший возраст, наличие детей, низкий уровень образования[2]. Что касается потребления пищи, положительная корреляция здесь обнаруживается с возрастом и доходом, а отрицательная – с продолжительностью рабочего дня[3]. Авторы планируют проанализировать потенциальные струк-

---

[1] См.: De tijd als spiegel [Time as a mirror]. – Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006; Gershuny J. Changing times: Work and leisure in postindustrial society. – Oxford: Oxford univ. press, 2000.

[2] Changes in the practice of eating: A comparative analysis of time-use / Warde A., Cheng S.-L., Olsen W., Southerton D. // Acta sociologica. – L., 2007. – Vol. 50, N 4. – P. 363–385.

[3] The changing practice of eating: Evidence from UK time diaries, 1975 and 2000 / Cheng S., Olsen W., Southerton D., Warde A. // The British j. of sociology. – Oxford, 2007. – Vol. 58, N 1. – P. 39–61.

турные изменения и затем сформулировать гипотезы относительно возможных поведенческих изменений.

Подобно другим постиндустриальным странам в Нидерландах в последние десятилетия наблюдалось уменьшение размера семьи / домохозяйства, повышение общего образовательного уровня, рост трудовой занятости женщин. Согласно **первой гипотезе**, формулируемой авторами, данные взаимосвязанные структурные изменения привели к сокращению времени, посвящаемого досугу, уходу и работе по дому, а, следовательно, и к сокращению времени, сопряженного с едой. **Вторая гипотеза** касается возможного различия между буднями и выходными днями: авторы предполагают, что сокращение времени, которое люди так или иначе тратят на еду, в выходные будет менее очевидно. При этом свою роль в данном процессе играют не только структурные, но и поведенческие изменения. В частности, изменилось представление о «хорошей» еде – таковой теперь считается еда без искусственных наполнителей, а по возможности и органическая. Это приводит к **третьей гипотезе**: поскольку людям важно, что именно они едят, на этапе, следующим за анализом структурных факторов, авторы ожидают повышения времени, связанного с едой. Далее, несмотря на то, что женщины в сравнении с мужчинами больше заняты домашними делами, в том числе готовкой, в последние десятилетия наметилась тенденция в направлении большего равенства в этой сфере[1]. Прежде всего, это касается таких занятий, которые, по крайней мере, в некоторой степени способны приносить удовольствие, а именно игры с детьми и приготовления пищи. Отсюда **четвертая гипотеза**: разница во времени, затрачиваемом на еду соответственно мужчинами и женщинами, постепенно сглаживается (т.е. мужчины тратят все больше времени, а женщины – все меньше). Поскольку более выраженной данная тенденция будет в тех домохозяйствах, где женщины и мужчины в действительности, на практике должны распределять обязанности, **пятая гипотеза** предполагает, что большее выравнивание будет наблюдаться в отношении женщин и мужчин, состоящих в браке, по сравнению с теми, кто в браке не состоит. А в связи с тем, что родители сейчас

[1] Cotter D., Hermsen J.M., Vannevan R. The end of the gender revolution? Gender role attitudes from 1977 to 2008 // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2011. – Vol. 117, N 1. – P. 259–289.

проводят больше времени с детьми[1] и, соответственно, предпочитают домашний обед, не только как более полезный, но и позволяющий «качественно» провести время дома, **шестая гипотеза** принимает следующий вид: сокращение времени, посвящаемого еде, будет в меньшей степени типично для родителей, нежели для индивидов, не имеющих детей. Наконец, **седьмая гипотеза** относится к образовательному уровню респондентов и формулируется авторами в двух вариантах: 1) для высокообразованных индивидов будет характерно сокращение времени приготовления и потребления пищи (так как они больше работают); 2) для них будет характерно повышение соответствующего времени (так как они лучше разбираются в здоровой пище и предпочитают слоуфуд).

Мандемакерс и Рутерс проанализировали результаты семи волн опроса DTUS (каждые пять лет между 1975 и 2005 гг.); отобранные участники (13 421 человек) в возрасте от 18 до 64 лет заполняли дневники, в которых описывали, как распределяется их время в течение дня. Ответы были получены в среднем от 45% респондентов: от 20% в 1995 до 76% в 1975 г. (Для 1975 г. отсутствовала информация о питании вне дома.) На основании пола и типа домохозяйства респонденты были разделены на восемь групп: женщины / мужчины, состоящие в браке и имеющие детей; женщины / мужчины, состоящие в браке без детей; одинокие женщины / мужчины; матери-одиночки / отцы-одиночки. Последнюю группу составили 4% женщин и 1% мужчин – в связи с ее незначительным объемом наблюдаемые в отношении нее тенденции практически не обсуждаются авторами. Затем были добавлены такие ковариаты, как возраст, образование (начальное, среднее / среднее специальное, высшее, ученая степень), текущая занятость (неработающие, занятые неполный день, занятые полный день). Сначала авторы рассмотрели общие тенденции, после чего рассчитали количество минут, которое респонденты тратили на приготовление и употребление пищи. На втором этапе были подключены социодемографические факторы.

Переходя к результатам, авторы сообщают, что за три десятилетия в Нидерландах время, затрачиваемое на приготовление

[1] Badinter E. The conflict: How modern motherhood undermines the status of women. – N.Y.: Metropolitan books: Holt & co., 2011.

пищи, в среднем сократилось на 52 минуты (т.е. на 12 минут в будний день и на шесть минут в выходной день). Соответственно, ели голландцы в 2005 г. на 86 минут меньше, чем в 1975 г. (на 19 минут меньше в будни и на 15 минут меньше в выходные). В 2 раза увеличилось время в ресторанах и на 72% чаще стали покупать готовую еду. Как и ожидалось (гипотеза № 1), общее сокращение времени в значительной мере объясняется уменьшением домохозяйств, экспансией образования, расширением женской занятости. Подтвердилась и вторая гипотеза: рассматриваемая тенденция больше выражена в будние, нежели в выходные дни. Вместе с тем гипотезу № 3 пришлось отвергнуть: популярность слоуфуда пока не оказывает существенного влияния на тренды в приготовлении и употреблении пищи. Четвертая гипотеза, предполагавшая сглаживание различий между мужчинами и женщинами в данной сфере, была подтверждена частично – в отношении приготовления, но не употребления. Так, если в 1975 г. женщины тратили на приготовление пищи на 203 минут больше, чем мужчины, в будние дни и на 90 минут больше в выходные, то к 2005 г. этот разрыв сократился до 114 и 46 минут, соответственно. Напротив, в то время как в 1975 г. мужчины ели на 30 минут меньше, чем женщины, в 2005 г. этот показатель возрос до 80 минут. При этом и мужчины, и женщины стали чаще питаться не дома. Пятая гипотеза, касавшаяся разницы между индивидами, состоящими и, соответственно, не состоящими в браке, нашла частичное подтверждение. Так, у незамужних женщин приемы пищи удлинились, а у замужних остались на прежнем уровне. Разрыв между холостыми и женатыми мужчинами также уменьшился. Тем самым, хотя поведенческие траектории были различными, в итоге они привели к сокращению различий между состоящими и не состоящими в браке респондентами. В то же время шестая гипотеза подтверждения не нашла: как имеющие, так и не имеющие детей индивиды обоего пола тратят на еду приблизительно одинаковое время; наоборот, выяснилось, что, например, матери / отцы-одиночки стали тратить на готовку даже меньше времени. Что касается седьмой гипотезы, авторы не нашли доказательств ни для одной из двух версий. При этом они считают необходимым указать на следующие тренды. Во-первых, время приготовления пищи в среднем сократилось и у высокообразованных, и у людей с начальным образованием, однако в случае с первыми падение было более

радикальным. Во-вторых, разница в посещении ресторанов увеличилась; в 2005 г. респонденты с самым высоким уровнем образования ели в ресторанах в 2 раза чаще, чем респонденты с самым низким образовательным уровнем. В-третьих, к 1995 г. стала статистически незначимой разница в частоте покупок готовой еды.

Основные свои выводы Мандемакерс и Рутерс резюмируют следующим образом: 1) люди стали значительно реже готовить и есть дома, в то время как частота посещений ресторанов и покупок готовой еды увеличилась вдвое; 2) эти тенденции можно объяснить как структурными, так и поведенческими изменениями; 3) тренд в направлении слоуфуда оказался несущественным; 4) сокращение времени на приготовление и потребление пищи более выражено в будние, нежели в выходные дни; 5) значимыми факторами изменений явились тип домохозяйства, гендер и уровень образования индивидов.

Далее авторы кратко характеризуют ряд вопросов, оставшихся вне рассмотрения в рамках данной статьи. Прежде всего, Мандемакерс и Рутерс не анализировали тренды в отношении еды в качестве не первичного, а вторичного занятия (т.е. питания во время просмотра телепередач, работы на компьютере и т.п.), в то время как, отмечают они, подобное использование еды может иметь важные социальные и медицинские последствия: например, увеличение количества тучных людей связывают с сокращением времени питания как первичного занятия[1]. Также авторы не изучали взаимосвязь между сокращением времени семейных обедов и снижением социального капитала, о чем в свое время писал Р. Патнэм[2]. В будущем Мандемакерсу и Рутерс представляется интересным рассмотреть вопрос, как и с кем осуществляется приготовление и потребление пищи. Они бы также хотели сосредоточить свое внимание на растущей группе одиноких людей; поскольку те предположительно работают больше других, возможно, лишь небольшое их число приняло участие в опросе и их поведение не было изучено в достаточной мере.

Я.В. Евсеева

[1] Hamermesh D.S. Incentives, time use and BMI: The roles of eating, grazing and goods // Economics a. human biology. – Amsterdam, 2010. – Vol. 8, N 1. – P. 2–15.

[2] Putnam R.D. Bowling alone: The collapse and revival of American community. – N.Y.: Simon & Schuster, 2000.

2017.01.005. ШИРМЕР Б. ХИПСТЕРЫ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОП-КУЛЬТУРЕ.
SCHIERMER B. Late-modern hipsters: New tendencies in popular culture // Acta sociologica. – L., 2014. – Vol. 57, N 2. – P. 167–181.

Ключевые слова: культура позднего модерна; хипстер; жизненные стили; имитация; аутентичность; ирония.

Бьорн Ширмер (Копенгагенский университет, Дания) анализирует социальную роль и значение такой новой фигуры в западной культуре позднего модерна, как хипстер. По мнению датского социолога, феномен хипстеризма дает ключ к пониманию серьезных изменений, которые ожидают западную культуру в ближайшие десятилетия и которые не могут быть адекватно описаны в привычных культурологических и социологических категориях. Его цель – нарисовать объемный социологический портрет хипстера наших дней, используя новые дескриптивные и теоретические средства, пригодные для разработки альтернативного взгляда на культурные тенденции постмодерна.

В академической социологии фигура хипстера не пользуется популярностью; скорее, наоборот, здесь все еще доминирует представление о молодежной субкультуре как о «средоточии бунта», посредством которого новое поколение отстаивает свое право на «иной» стиль жизни и защищает идею эмансипации от капиталистических ценностей отцов. В этом контексте хипстеризм оценивается преимущественно в негативно-критическом ключе – как выражение социальной индифферентности и пассивного консерватизма. Умеренный интерес к хипстерам проявляют исследователи культуры потребления, тогда как в целом этот феномен совершенно не занимает социологов. Между тем хипстеры – это одна из самых обсуждаемых тем на просторах Интернета и в СМИ, причем не только в желтой прессе, но и на страницах таких солидных изданий, как *Fortune* и *Wall Street Journal*, замечает Ширмер. Более того, журналисты нередко жалуются на дефицит социологических подсказок для расшифровки хипстеризма, тогда как представители академической социологии ограничиваются уничижительными комментариями, не утруждая себя профессиональным исследованием.

Устранению этой досадной лакуны в современной социологии призвана отчасти послужить настоящая статья, акцентирующая

позитивные аспекты культуры хипстеров. К таковым датский социолог причисляет иронический консьюмеризм, откровенный (заявленный) консерватизм и культуросберегающий стиль жизни, что в совокупности отражает новый тип отношений между поколениями, отличный от классического конфликта «отцов и детей». Эмпирическим материалом для обобщений автора послужили сведения, содержащиеся в популярных руководствах и путеводителях по миру хипстеров[1], а также собственные этнографические наблюдения и интервью в местах сосредоточения носителей хипстер-культуры (пабы, бары, кафе и пр.).

Для осмысления этих данных Ширмер использует понятия имитации и аутентичности, описывающие противоположные социокультурные процессы. Под имитацией он подразумевает «бессознательные практики осуществления действий, осуществляемых другими, исключительно ради того, чтобы делать то, что делают другие» [с. 169]. Социокультурная имитация имеет место во всех тех случаях, когда говорят, что та или иная манера поведения либо избранный объект являются всего лишь требованием моды. Посредством неосознанного участия в разных формах коллективной имитации сообщество «отбирает» культурные объекты или концентрируется на них, выступая в качестве социальной детерминанты вкусов, предпочтений и пристрастий.

Под аутентичностью автор понимает любые креативные формы поведения и социальных практик, которые требуют самовыражения [с. 3]. Он не ограничивает данное понятие эстетической сферой, не рассматривает его исключительно как характеристику субкультуры или объекта, составляющего ее ядро; вместе с тем он не считает аутентичность абстрактной целью, к которой, как полагает Э. Гидденс, должно стремиться индивидуальное Я в своей биографической самореализации. «Каждый раз, когда мы участвуем в личной креативной практике, мы заняты поиском аутентичности», – резюмирует Ширмер [там же].

Оппозиция между имитацией и аутентичной индивидуальностью является отправным пунктом для авторского анализа культу-

[1] Aiello J. A field guide to the urban hipster. – N.Y.: Broadway books, 2003; Grief M., Ross K., Tortorici D. What was the hipster? A sociological investigation. – N.Y.: N+1 foundation, 2010; Weingarten C.R. Hipster puppies. – N.Y.: NAL Trade, 2011.

ры хипстеров позднего модерна. Хипстер-культура ярко и наглядно обнаруживает противостояние социокультурной подражательности и глубокой индивидуализации жизненных стилей, которое составляет содержательное ядро социальной реальности постмодерна. Сам термин «хипстер» (от английского *hip* или *hep* – быть в теме) получил распространение в 1940-е годы. В то время так называли молодых людей, позиционирующих себя в качестве знатоков и ценителей подлинной (афроамериканской) джазовой культуры. Позднее этот культурный тренд был описан как «увлечение белых музыкальной культурой черных»[1]. К современным хипстерам прежнее понятие применимо лишь отчасти; увлечение аутентичным джазом – это только одно из множества культурных, или, скорее, попкультурных пристрастий адептов хипстеризма наших дней. Хипстер XXI столетия отдает дань иронического уважения самым разным и порой совершено неожиданным культурным артефактам, которые некогда были на пике социальной моды (виниловые пластинки и эстетика полароидных снимков, винтажная одежда и прически, герои подростковых комиксов и мыльных опер прошлого века, идолы «журналов для девочек» и супермены из старых голливудских боевиков). От своих предшественников современный хипстер унаследовал тонкий снобизм эстета и репутацию эксперта и хранителя культурной аутентичности, которую «можно обнаружить там, где никто не ожидал» [с. 169–170]. В этом смысле хипстеров можно охарактеризовать как поклонников культурного декаданса − некогда популярных (поп) культурных феноменов, вышедших в тираж.

Хипстеризм не является субкультурой в обычном ее понимании, настаивает Ширмер. Будучи противниками любой имитационной практики, его адепты противятся самому факту отнесения себя к сообществу хипстеров, т.е. не подчиняются социальной категоризации, выявляющей повторяющиеся и общие черты социокультурной группы. Для хипстера ценен сам хипстер как аутентичная креативная индивидуальность, но не хипстеризм как (повторяющееся) социальное явление. Хипстер индивидуален, он не имеет признанных лидеров, его единомышленники не пишут

[1] Broyard A. A portrait of the hipster // Partisan rev. – N.Y., 1948. – Vol. 15, N 6. – P. 721–727; Mailer N. The white Negro // Dissent. – N.Y., 1957. – Vol. 4. – P. 276–293.

манифестов и не поощряют употребление наркотиков, они не выходят на улицу с протестными лозунгами и не вступают в конфликт с авторитетами, не заявляют о себе как о ниспровергателях существующего порядка и не противопоставляют себя старшим поколениям. Иными словами, замечает автор, у хипстера нет никакой «причины», чтобы быть хипстером, за исключением одной – противостоять социокультурной имитации посредством иронии и креативности [с. 170].

Тем не менее «путеводители по хипстеризму» пестрят зарисовками «типичных образов» хипстера постмодерна, составляющих яркую имидж-галерею культурного феномена, в рамках которого заявленный протест против единообразия и апологии индивидуализма не исключают определенной доли подобия или хотя бы узнаваемого сходства. В социальном отношении современный хипстер – это представитель среднего класса в возрасте 20–35 лет, имеющий гуманитарное или художественное образование и «левые» политические предпочтения; многие хипстеры работают в кафе, барах, музыкальных магазинах и модных лавках либо являются свободными художниками. Образ жизни хипстера можно охарактеризовать как «джентрификацию» мест сосредоточения прежних поп-культурных атрибутов и символов в рабочих, этнических и «экзотических» районах крупных городов Европы и США. Колыбелью и столицей современного хипстеризма считается район Уильямсберг в Бруклине (Нью-Йорк, США). В своем внешнем облике хипстеры культивируют имидж неотесанной деревенщины с красной шеей; непременным атрибутом одежды в этом случае будут клетчатая рубашка и гигантская пряжка брючного ремня в виде головы буйвола. Хипстер часто облачен в белую нижнюю майку и кожаную куртку, он также эксплуатирует образ настоящего морского волка – окладистая борода, усы, зюйдвестка и трубка в зубах. Популярен образ одинокого ботаника в гигантских очках, напоминающий персонажей молодежных американских сериалов 1980-х годов. Ботаник, или даже «ботан», в данном случае служит парадигмой аутентичной индивидуальности; он слишком умен для своего окружения, застенчив и неуклюж, но все это составляет предмет его затаенной гордости как индивида, непохожего на всех. Знаком аутентичности у хипстеров служат эксклюзивные сюжеты татуировки: их тату всегда индивидуальны и нестандартны – либо

абсолютно узнаваемы, но в этом случае глубоко и откровенно ироничны (этнические мотивы у девушек, морская символика у молодых людей). В последнем случае откровенный китч подается как ироническое дистанцирование от доминирующей имитационной культуры большинства – и одновременно как намеренное сохранение аутентичных культурных знаков прошлого.

Ширмер трактует иронию как «способ быть вместе, мощное, но опасное оружие конкретной социальной интеракции» [с. 171]. В ироническом контексте важен момент его успешного распознавания социальным vis-a-vis; в случае успеха возникает тесная социальная связь участников взаимодействия, в случае неудачи – неловкость и непонимание. Именно в таком ее понимании ирония используется хипстерами при создании индивидуального имиджа, общении с другими, выработке стилей поведения; посредством иронии они получают коллективное удовольствие от культурных объектов, ушедших в прошлое.

Иронический посыл легко прочитывается и в стилистическом оформлении досугового пространства хипстеров (кафе, бары, пабы, пивнушки, кабачки, подвальчики). Здесь можно увидеть хаотично развешанные по стенам или намеренно сгруппированные фотографии (например, одного и того же бывалого шкипера в разных ракурсах); светильники и люстры в самых невероятных декоративных сочетаниях; россыпи «будуарных» зеркал в бронзовых рамах; изображения ребенка с глазами, полными слез; дешевые фаянсовые тарелки или набор охотничьей атрибутики, включая гигантские оленьи рога. Таким образом, резюмирует свои наблюдения автор, эстетика хипстеризма эксплуатирует и одновременно делает явными поп-культурные универсумы в сугубо ироничной манере [с. 173].

Однако ирония, взятая на вооружение хипстерами, не тождественна чувству брезгливости (dégoût), о котором писал П. Бурдье. Ироническая деструкция поп-культурных объектов и китча – это не констатация их эстетической или иной несостоятельности, а, напротив, наглядная демонстрация запечатленной в них креативной аутентичности, заслуживающей искреннего уважения и восхищения именно в таковом ее обличье и качестве, настаивает Ширмер. Вместе с тем бессистемное нагромождение культурных артефактов прошлого в оформлении хипстер-пространства обнаруживает эле-

мент презрения его обитателей к имитационным аспектам социальной жизни и к тем предметам, обладание которыми в свое время олицетворяло предел мечтаний целых групп и социальных сообществ (как, например, обладание «Запорожцем» в СССР). Собранные в хаотичную «массу» фетиши минувших дней обнажают дефицит креативной индивидуальности у тех, кто им некогда поклонялся.

Ирония окрашивает взаимодействие хипстера с самыми разными элементами культурного поля прошлых десятилетий: огромные мобильные телефоны первого поколения и незамысловатые электронные игры, напыщенность арабского неорококо, научная фантастика XX в., мегаломания сталинской архитектуры, гигантские домашние компьютеры и т.п. Все эти «потерпевшие фиаско» культурные атрибуты былых времен, провоцирующие ироническое увлечение в контексте хипстер-культуры, имеют одну общую черту: некогда они являлись объектами интенсивных коллективных инвестиций, были ультрамодны либо, по крайней мере, «коллективно актуализированы» и составляли фокус социального воображения – притом, что приписывавшиеся им качества не имели под собой никакого существенного основания [с. 173].

Эта особенность – обнаружение несостоятельности имитационного культурного фетишизма былых времен – составляет один из двух ключевых признаков хипстеризма. Второй его составляющей автор считает обратную тенденцию, а именно политику активного сбережения культурных артефактов недавнего прошлого. Увлечение хипстеров образом «сурового отца», запечатленного на фотографиях 1970-х годов, или фасонами платьев, которые были в моде в 1960-х, носит совершенно искренний и чисто эстетический характер, подчеркивает автор. Это преклонение перед аутентичной эстетикой минувших дней, в котором нет места снисхождению. Вместе с тем трепетное отношение хипстера к культурным объектам, «снятым с репертуара», исключает всякий намек на ностальгию, свойственную старшим поколениям, которые хотели бы вернуть былое, так как им нет места в настоящем. Ширмер считает заблуждением распространенное представление о хипстеризме как о «культуре сожаления». Поклонение атрибутам былой (поп)культуры выражает их «запрос на иной тип отношений с поколением отцов», не свойственных традиционной молодежной субкультуре

[с. 174]. Если в эпоху модерна в молодежной среде доминировала протестная контркультура, то ее закат отмечен возникновением не менее активной консервативной (охраняющей, сберегающей) культуры хипстеров. Иллюстрацией ее подлинной эстетической направленности, опосредованной артефактами культурного прошлого, может служить популярный американский телесериал «Безумцы» («Mad men»), сюжет которого «максимально эстетизирует парадигму американского консьюмеризма 1950–60-х годов»; более того, объекты потребления становятся не только персонажами фильма, но и ведущими актерами [с. 176]. Сериал делает очевидным подлинное наслаждение от самого акта соприкосновения с эстетическими универсумами прошлого, что не имеет ничего общего с ностальгией или сарказмом.

Помимо эстетического аспекта, позитивный момент сохранения прошлого в рамках культурной парадигмы хипстеризма связан с реабилитацией доцифровых технологий и медиа, продолжает автор. Хипстер воздает должное потерям и жертвам прошлых поколений, подчинившихся диктату научно-технического прогресса. Реанимация культурной ценности виниловых дисков и кассетных записей, текстов, напечатанных на пишущей машинке или офсетным способом в типографии, кадров, запечатленных традиционной кинокамерой или фотоаппаратом, демонстрирует гедонистическую окрашенность консерватизма хипстер-культуры позднего модерна: она оберегает и сохраняет чувственный опыт реальности, который заключен в доцифровых технологиях и медиа, полагает Ширмер.

Этот консерватизм не ограничен чисто эстетическим аспектом; он имеет глубокую содержательную подоплеку, продиктованную хипстер-протестом против культурной имитации и «серийности» позднего модерна. Продукты цифровых медиа воспроизводимы «по запросу», это всегда одни и те же дубли исходного изображения. Классическая фотография, напротив, всегда уникальна; она сохраняет огрехи проявления пленки и ее печати, так же как машинописная рукопись сохраняет опечатки и орографические ошибки машинистки. В век абсолютной цифровой репродукции индивидуализация любого объекта сопровождается риском утраты ауры нетиражируемости. В этом смысле хипстеризм позднего модерна сопоставим с эстетикой классического дендизма, который так же

неистово оберегал индивидуальность перед лицом социокультурной гомогенности, замечает автор [с. 177].

По иронии судьбы, столь дорогие сердцу хипстера продукты аналоговых технологий прошлого века легко и охотно тиражируются в современном виртуальном пространстве (Интернет, камеры смартфонов). В итоге чувственный опыт былого, который намерены сохранить хипстеры, становится достоянием самой широкой социальной аудитории. Эта тенденция, с одной стороны, обнаруживает реальную возможность для сближения поколений, с другой – делает более радикальным запрос постмодерна на уникальность, неповторимость и подлинность.

В заключение Ширмер подчеркивает особенности хипстер-культуры наших дней, которые делают ее востребованным объектом социологического анализа.

1. Феномен хипстеризма, не укладывающийся в стандарты классической субкультурной модели, занимает определенную нишу в культурном пространстве позднего модерна, осознанно позиционируя себя в качестве «экспертизы жизненных стилей».

2. Откровенная ироническая эстетизация поп-культурных объектов прошлого отражает замаскированный снобизм приверженцев хипстеризма, отдающих дань своему социальному статусу в качестве авангарда среднего класса.

3. Хипстер-культура не является культурой протеста; она сосредоточена на задаче сохранения культурных артефактов, которые утратили былую популярность, сохранив свою аутентичность.

В контексте новейших веяний в социологии культуры феномен хипстера не может быть адекватно описан ни с позиций консьюмеризма, ни в рамках исследования жизненных стилей, ни в терминах «неоплеменных культурных ритуалов», ни как субкультура вкусовых предпочтений, считает автор. Единственная теоретическая модель, которая может стать отправной точкой для социологического прочтения хипстеризма, – это метафора сцены И. Гофмана. Хипстер действительно живет и действует на авансцене городского пространства постмодерна, где динамическое противостояние имитации и креативной индивидуализации достигает своего апогея. В настоящий момент социология не располагает убедительной теоретической перспективой, способной отразить

закат классического культурного модерна и новый тип отношений между поколениями, заявленный хипстер-культурой наших дней.

Е.В. Якимова

2017.01.006. БАРТМАНСКИ Д., ВУДВОРД И. ВИНИЛОВАЯ ПЛАСТИНКА: КУЛЬТУРНАЯ ИКОНА.
BARTMANSKI D., WOODWARD I. Vinyl record: A cultural icon // Consumption markets a. culture. – Abingdon, 2016. – 16 Aug. – P. 1–7. – Mode of access: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10253866.2016.1212709?needAccess=true [Accessed 17.10.2016.]

Ключевые слова: виниловые пластинки; музыка; иконичность.

Доминик Бартмански (Берлинский технический университет, Германия) и Иэн Вудворд (Университет Южной Дании, г. Оденсе, Дания) в своей статье показывают, что объекты вроде виниловой пластинки, представляющие собой культурные иконы, обретают свой смысл в результате двоякого процесса: во-первых, они позволяют пользователям испытать разнообразные физические переживания (от обладания и применения до тактильных ощущений как таковых); во-вторых, они находятся в связи с другими объектами из той же культурной системы (в данном случае – проигрывателями, динамиками и т.п.), а также составляют часть специфических, исполняемых почитателями ритуалов. Благодаря указанным явлениям виниловым пластинкам удалось избежать исчезновения и даже со временем обрести статус элитарного товара, особо ценимого в музыкальных сообществах. Как отмечают авторы, отдельные исследователи высказывают опасение, что виниловые пластинки могут пасть жертвами собственного успеха, однако, с точки зрения Бартмански и Вудворда, эти культурные иконы смогут сохранить свою сакральную ауру.

По мнению авторов, судьба виниловой пластинки указывает на существующую в культуре латентную одержимость смертью, ведь речь здесь идет о предмете, не желающем умирать, и, помимо того, свидетельствует о рефлексивном характере рынков и перформативной конструкции товаров. Анализ данных феноменов может

быть основан на концепциях сакрального тотема (Э. Дюркгейм)[1] и ауры (В. Беньямин)[2]; тем не менее Бартмански и Вудворд полагают, что необходимо применять более многомерную категорию культурной иконичности (cultural iconicity) и рассматривать настоящие процессы в диахронной перспективе. Иконичность позволяет исследователю сополагать дискурсивное с материальным и чувственным, а также видеть в конструировании смысла динамический процесс: смысл меняется в соответствии с меняющимися социально-материальными условиями. Рынки развиваются, вместе с ними видоизменяются товары, и сами эти изменения повергаются рефлексии и порой даже фетишизации. В результате такой «старый новый» товар, как виниловая пластинка, становится востребованным продуктом на рынке в цифровую эпоху музыкального потребления. В другой своей работе[3] авторы изучали вопрос, каким образом цифровая революция видоизменила аналоговый формат и создала культурное пространство, в котором мог быть восстановлен тотемный статус винила. В данной статье Бартмански и Вудворд стремятся понять, как это «священное» положение может быть дестабилизировано, усилено или расширено.

В качестве краткой исторической справки авторы напоминают, что в 1990-е годы несколько крупных звукозаписывающих компаний (которым принадлежало порядка 80% мирового музыкального рынка) решили устранить рассматриваемый формат и заменить виниловые пластинки компакт-дисками. Последние были значительно дешевле с точки зрения производства, но стоили не меньше, тем самым на несколько следующих лет производителям были обеспечены гигантские прибыли. В середине 2000-х годов, с развитием Интернета, винил, казалось бы, должен был полностью исчезнуть, однако он выжил благодаря преданности независимых музыкантов, коллекционеров и меломанов, которые никогда не отказывались от этого формата и фактически наделили его особой аурой. В 2011 г. журнал «Rolling Stone» обратил внимание своих

[1] Durkheim E. Elementary forms of religious life. – N.Y.: Free press, 1995.

[2] Benjamin W. The work of art in the age of its technological reproducibility and other writings on media. – Cambridge (MA): Harvard Belknap, 2008.

[3] Bartmanski D., Woodward I. The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction // J. of consumer culture. – L., 2013. – Vol. 15, N 1. – P. 3–27.

читателей на рост продаж виниловых пластинок[1]. Позже похожие статьи появились и в других изданиях. По словам журналиста «Mixmag»[2], продажи пластинок продолжают расти, при этом молодые покупатели слушают купленные записи отнюдь не регулярно.

Авторы указывают, что виниловые пластики – это особый, не брендовый товар. Это символический и одновременно многомерный материальный объект, со своими физическими качествами, феноменологическими отсылками и перформативными чертами. Прослушивание музыки сопряжено с ритуальным погружением и самыми разными опытами и практиками. Что касается винила, то этот формат определяется не портативностью, а его свойствами как объекта и не в последнюю очередь эстетическими характеристиками. Широкая общественность, пишут авторы, осознала этот факт лишь по завершении цифровой революции, когда музыкальное потребление окончательно стало виртуальным и настолько доступным, насколько это только возможно. В то же время, как отмечал Г. Зиммель[3], доступность может отрицательно сказаться на ценности и значении объекта. Каждая пластинка представляет собой уникальный предмет; это подходящий объект для коллекционирования и достойный подарок. Разнообразие дизайнерских решений обложек также является составляющей «художественной ауры» виниловой пластинки. С 1950-х годов данный формат практически не менялся, что делает его символом стабильности и долговечности. В качестве звукового носителя виниловая пластинка имеет свою историю, полную аллюзий и окутанную легендами.

В эпоху рождения рок-поп канона это был основной формат музыкального воспроизведения, оттого он воспринимается меломанами в качестве «классического», «настоящего», «аутентичного». Самые известные произведения *The Beatles*, *The Rolling Stones*, Боба Дилана и др. были выпущены на виниле, поэтому «серьез-

[1] Perpetua M. Vinyl sales increase despite industry slump // Rolling Stone. – N.Y., 2011. – Jan. 6. – Mode of access: http://www.rollingstone.com/music/news/vinyl-sales-increase-despite-industry-slump-20110106 [Accessed 07.11.2016.]

[2] Hinton P. Music streaming services are raising vinyl sales // Mixmag. – L., 2016. – Apr. 14. – Mode of access: http://www.mixmag.net/read/music-streaming-services-are-raising-vinyl-sales-news [Accessed 07.11.2016.]

[3] Simmel G. A chapter in the philosophy of value // Simmel G. Englischsprachige Veröffentlichungen, 1893–1910. – Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008. – S. 149.

ные» слушатели придерживаются мнения, что эту музыку следует слушать именно на этом носителе. Виниловые пластинки содержат подробные сведения о производителе, времени и месте записи, звучащих на записи инструментах и пр., часто также снабжаются дополнительной информацией о музыкантах, фотографиями и другими ценными для меломанов материалами.

Среди тех, кто оставался верным данному формату в годы падения его популярности, авторы прежде всего называют независимые музыкальные магазины. Они связывают между собой предметы, лейблы, музыкантов, покупателей, музыкальные сцены. Сейчас здесь устраиваются вечеринки и проходят концерты. Такие музыкальные магазины ближе как к потребителям, так и к музыкантам, в том числе представителям независимой сцены и андеграунда, и потому быстрее, нежели крупные корпорации, улавливают мельчайшие изменения музыкальных трендов.

При этом, отмечают авторы, нынешний расцвет данного рынка, возможно, несет в себе ростки его будущего заката. Винил вступил в фазу рекоммодификации, и даже такие поп-звезды, как Джастин Бибер, выпускают альбомы на этом носителе. Тем не менее, Бартмански и Вудворд считают, что виниловые пластинки способны сохранить свою нишу. Тому, по их мнению, есть несколько причин. Во-первых, данный формат содержит в себе мощную социокультурную составляющую; он играет важную роль в самоидентификации людей, ему сопричастных. Во-вторых, у винила много граней, и он имеет свое особое значение в жизни каждого меломана, коллекционера, ди-джея, как, собственно, и в истории различных альтернативных субкультур – от панка до техно. Кроме того, он связан с другими предметами городской моды, такими как книги и одежда. Оттого авторы статьи видят в нем воплощение качества, ритуала, отличия, успеха и компетенции в музыкальной сфере.

Я.В. Евсеева

2017.01.007. ЛЛЕВЕЛЛИН Н. «ДЕНЬГИ ГОВОРЯТ»: КОММУНИКАТИВНАЯ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ.

LLEWELLYN N. «Money talks»: Communicative and symbolic functions of cash money // Sociology. – L., 2016. – Vol. 50, N 4. – P. 796–812.

Ключевые слова: наличные деньги; конверсационный анализ; этнометодология; социология денег.

Наличные деньги – один из наиболее распространенных и устойчивых символических ресурсов для осуществления социальных действий. В своей статье Ник Ллевеллин (Уорикский университет, г. Ковентри, Великобритания) анализирует особенности проявления и значение коммуникативной и символической функций наличных, которых, например, электронные способы оплаты лишены вовсе.

Ллевеллин отмечает, что в массовом сознании обладание *кэшем* воспринимается как очевидное доказательство благосостояния. И несмотря на регулярно звучащие прогнозы уменьшения объема наличных в денежном обороте за счет возрастания доли электронных платежей, количество средств, которые снимают, например, в банкоматах Великобритании[1], только увеличивается. Тем не менее символическая функция наличных до настоящего времени не становилась предметом пристального научного рассмотрения. Стремясь заполнить эту «лакуну», автор ставит перед собой задачу выявить причины, по которым наличные остаются столь устойчивой формой осуществления транзакции, несмотря на появление других способов оплаты.

В социологии наличные рассматриваются как элементарная знаковая система. Исследования американского эксперта в области экономической социологии В. Зелицер показали, что социальные практики влияют на оборот денег, «персонифицируя и дифференцируя изначально одинаковые денежные формы»[2]. Зелицер проанализировала специфику использования, понимания и контроля денежных средств в диадах «муж–жена» и «благодаритель–бенефициар». Продолжая изучение «дифференцированных форм денег», Ллевеллин сосредоточивает фокус своего интереса на их ситуативном использовании, а не на сложившихся культурных нормах. Подобная коммуникативная функция наличных в большей

[1] The future of payments report. – L.: Payments UK, 2015. – Mode of access: http://www.paymentsuk.org.uk/sites/default/files/The%20Future%20of%20Payments%20Aug%2015_0.pdf [Accessed 18.12.2016.]

[2] Zelizer V.A. The social meaning of money: «Special monies» // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1989. – Vol. 95, N 2. – P. 342–377.

мере проявляется, когда люди путешествуют за границей и не могут использовать язык как средство обмена информацией [с. 796–797].

Т. Парсонс характеризует деньги как специализированный язык, «обобщенное средство коммуникации посредством символов»[1], позволяющее выражать намерения и предложения участников рынка. Ю. Хабермас[2], перерабатывая теорию Парсонса, определяет деньги как «взаимодействие, ориентированное на взаимное понимание». Он осмысляет символизм денег, когда символические средства заменяют или редуцируют лингвистическую коммуникацию, тем самым ограничивая возможность свободного обмена информацией.

Проводя лингвистическую аналогию, Ю. Хабермас разрабатывает модель отправитель – получатель, где денежный обмен рассматривается в качестве коммуникативного акта, выстроенного по определенным, ограничивающим его правилам. Деньги используются, чтобы выразить экономическую ценность, продемонстрировать свои предпочтения или показать согласие.

Отмечая, что теоретические выкладки Ю. Хабермаса не базировались ни на каком конкретном практическом исследовании, Ллевеллин стремится восполнить этот пробел и выработать эмпирически обоснованную модель денежной коммуникации. Автор утверждает, что деньги приобретают символическое значения за счет легитимности, которой их наделяет государство[3]. Наличные – это не только способ взаимодействия, это также часть культуры и истории. Вместе с тем наличные ситуативно приобретают новые смыслы, которые не закреплены в культуре и истории. Эмпирический характер исследования коммуникативной функции наличных должен расширить «лингвистическую аналогию» Хабермаса и раскрыть ситуативные смыслы [с. 798].

---

[1] Chernilo D. The theorization of social co-ordinations in differentiated societies: The theory of generalized symbolic media in Parsons, Luhmann and Habermas // The British j. of sociology. – L., 2002. – Vol. 53, N 3. – P. 431–449.

[2] Habermas J. The theory of communicative action. – L.: Heinemann, 1987.

[3] Ingham G. The nature of money. – Cambridge: Polity press, 2004.

Подход автора данной статьи в некоторой степени совпадает с позицией В. Зелицер[1], одной из первых обратившей внимание на то, что нормы использования денег вписаны в культурный и социальный контексты. В то же время, в отличие от В. Зелицер, работавшей в области мезосоциологии, Н. Ллевеллин фокусируется на микроуровне социальных отношений: он анализирует особенности хранения, передачи и приема наличных в ходе межличностного взаимодействия. При этом автор статьи солидарен с представлением о дифференциации значения наличных в зависимости от трансформации контекста использования: «Значение денег, как и значение языка, различно, локально и связано с практикой применения…»[2].

Исследователи Б. Каррутерс и В. Эспеланд[3] отмечают три свойства денег. Во-первых, наличные приобретают прагматическое значение, которое не связано с «культурной матрицей». Во-вторых, это значение имеет постоянные свойства (стоимость). В-третьих, использование денег контролируется свободными, ситуативными правилами. Так, стоимость может быть снижена вполовину в рамках конкретного контекста.

Цель исследования Н. Ллевеллина – расширить понимание прагматического значения денег, изучив досконально поведение участников транзакций в повседневных ситуациях [с. 799–800].

О методике исследования. Было установлено наблюдение у касс художественной галереи. За спинами продавцов билетов находились камеры, а перед ними стояли компьютеры; информация о ценах на входные билеты была указана на стене сзади. Когда посетители заказывали билеты, сотрудник галереи вводил данные в компьютер, распечатывал билеты, инициируя тем самым оплату.

Посетители могли приобрести билет только на первый этаж (1 долл.), билет по стандартной стоимости (6 / 8 долл.) или по более высокой цене (6,60 / 8,80 долл.), включающей в себя пожертвование в размере 10% от стоимости. Если посетители не конкретизировали, какой билет хотят купить, сотрудник галереи уточнял это,

[1] Zelizer V.A. The social meaning of money: «Special monies» // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1989. – Vol. 95, N 2. – P. 342–377.

[2] Carruthers B.G., Espeland W.N. Money, meaning and morality // American behavioral scientist. – L., 1998. – Vol. 41, N 10. – P. 1388.

[3] Op. cit. – P. 1384–1408.

спрашивая: «Хотели бы вы приобрести билет, включающий безвозмездное пожертвование?».

На главном входе и у регистратуры размещались карточки, уведомляющие о том, что в настоящий момент проводится научное исследование, подробную информацию о котором можно узнать по требованию. Небольшое количество посетителей спросили об исследовании, однако никто не обратился за дополнительной информацией.

Все диалоги были транскрибированы, согласно системе обозначения Джефферсона[1]. Методология анализа данных представляла собой «симбиоз» конверсационного анализа и этнометодологического подхода. Аналитическая задача была сформулирована следующим образом: определить, как участники социального действия «работают» с коммуникативной функцией наличных при покупке билета. Это включало два аспекта: изучение того, как посетители выдают наличные и как сотрудники галереи их принимают. Из 189 участников 50% использовали наличные, чтобы приобрести билеты [с. 800–801].

Результаты исследования. По итогам наблюдения, Ллевеллин смог выделить несколько функций наличных. Наличные могут быть использованы, чтобы спроектировать ожидаемые действия и тем самым продемонстрировать намерения участников операции. Наличные не просто участвуют в транзакции, но определяют и организуют ее. В этом случае номинал денег имеет принципиальное значение.

Пример 1. Посетитель достает монету в 1 долл. и кладет на стол регистратуры перед сотрудником галереи. Работник понимает, что посетитель хочет приобрести билет только на первый этаж и спрашивает: «Билет на первый этаж?». Используя наличные, посетитель продемонстрировал своими действиями желание приобрести конкретный билет. По каким признакам это стало очевидно? Ведь люди иногда достают монеты, чтобы собрать из них нужную сумму или добавить к купюрам. Однако в данном случае посетитель вынул лишь одну монету. Также он твердо положил 1 долл. перед сотрудником и посмотрел на него, ожидая дальнейших дей-

[1] Подробнее см.: Heritage J. A change of state token // Structures of social action. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1984. – P. 299–345.

ствий. Вопрос сотрудника показывает, что он принял во внимание монету в 1 долл. и понял намерения посетителя. Посетитель понимает, что билет для первого этажа не даст ему доступ на территорию всей галереи. Он задумывается над выбором и закрывает монету рукой, отменяя этим свои предыдущие намерения. Он выражает свои сомнения вербально («хмыкая»), визуально (смотрит на цены) и материально, прикрыв монету рукой [с. 801–802].

Пример 2. Два посетителя (С1, С2) заходят в галерею. С1 говорит: «Два льготных билета» (по 6 долл.). С2 достает купюру в 20 долл. и кладет ее перед работником галереи. Это может быть расценено как предложение оплатить оба билета: С2 не достает купюру в 10 долл., которой можно оплатить только 1 билет. Сотрудник принимает заказ. Тогда С2 подталкивает свою знакомую и продвигает вперед купюру в 20 долл., чтобы привлечь внимание. С1 замечает это движение и ищет в сумке 20 долл., чтобы продемонстрировать, что С2 будет платить только за себя. В этом случае поиски купюры несут символическую функцию.

Номиналы монеты в *примере 1* и купюры в *примере 2* продемонстрировали намерения посетителей. Если бы во втором случае С2 использовала банковскую карту, ей было бы необходимо дать дополнительную информацию С1 и сотруднику о своих намерениях оплатить оба билета.

В *примере 1* то, как посетитель вытаскивает монету, не связано с культурным или историческим значением денег, а лишь отражает его понимание конкретной ситуации. В этом случае наличные решают прагматические задачи как средство демонстрации точки зрения и намерений.

Наличные как средство обмена постоянно переходят из рук в руки, не неся информации о владельцах. Это создает возможность для социального действия [с. 803–804].

В *примере 3* наличные становятся общим ресурсом для трех посетителей, благодаря которому разрешается вопрос покупки билетов без использования речи. С1 заказывает три билета. С2 вынимает купюру в 10 долл., чтобы заплатить за себя. С1 смотрит на купюру и жестом отклоняет ее. С2 протягивает ее снова. С1 принимает ее и начинает искать в кошельке сдачу. С2 кивает головой в знак отказа. С1 снова пытается протянуть С2 банкноту, но С2 возвращает ее в кошелек С1, который соглашается принять деньги.

В этом примере вместо использования лингвистической коммуникации участники с помощью движения материальных ресурсов – наличных – решают исход ситуации. Таким образом, значение диалога уменьшается: «Нет, спасибо» может быть проигнорировано. Данная ситуация была бы невозможна при использовании электронных карт: С1 не мог бы использовать карту С2 для оплаты.

Наличные, обладающие разным номиналом, могут быть подобраны так, чтобы полностью соответствовать необходимой цене. Подбор необходимой суммы становится коммуникацией и говорит о намерениях участника транзакции [с. 804–805].

Пример 4. Женщина подходит к кассе и вынимает купюру номиналом в 10 долл. Изучает цены, достает еще 2 долл. монетой, кладет их на купюру и пододвигает к работнику галереи: «Два билета, пожалуйста». Вербально она не конкретизирует, какие именно билеты ей нужны: стандартные или с пожертвованием. Но демонстрируя точную сумму двух стандартных билетов, она выражает свои намерения. Если сотрудник задаст уточняющий вопрос «Хотели бы вы включить пожертвования?», это будет попыткой поменять намерения посетителя [с. 806–807].

Выводы. Наблюдения Н. Ллевеллина показывают, как коммуникативная функция наличных может быть проанализирована с применением подхода, близкого к лингвистическому анализу[1].

Разделение наличных по номиналу – критически важный фактор в процессе коммуникации. Купюра изначально обладает качеством, стоимостью. В данном контексте автор вспоминает предложение К. Маркса принять устойчивое деление денег на единицы как продолжение более широкой практики деления нефти на баррели, соль на блоки и т.д.[2] Когда одна из сторон достает деньги из кошелька, другие участники сделки уже только по одному номиналу купюры могут понять намерения этой стороны. Наличие номинала создает возможность для стратегических действий: предоставление нужной суммы позволяет выразить выбор товара. В случае же с банковскими картами, которые не обладают номина-

[1] Ganssmann H. Money: A symbolically generalized medium of communication? On the concept of money in recent sociology // Economy a. society. – L., 1988. – Vol. 17, N 3. – P. 285–316.

[2] Lapavitsas C. The social relations of money as universal equivalent: A response to Ingham // Economy a. society. – L., 2005. – Vol. 34, N 3. – P. 389–403.

лом, у другой стороны возникла бы ситуация неопределенности и потребовались бы дополнительные комментарии. Таким образом, карты обладают меньшим символическим потенциалом, чем наличные.

Благодаря коммуникативной функции наличные могут быть социально полезными[1]: они выражают психическое состояние его обладателя, показывают его намерения и будущие действия. Наличные не несут информацию о своем предыдущем владельце, поэтому не могут отражать согласие благотворителя (родителя) с действиями бенефициара (ребенка) [с. 808–810][2].

В социологии деньги часто описываются как символ, чья первичная функция – передавать информацию[3]. Но информация, которую символизируют деньги, отличается от той, которую предоставляют наличные. Так, деньги вообще обозначают согласие с принятыми нормами обмена, доверие государственным институтам и приверженность общепринятым ценностям[4]. Символическое же значение наличных ситуативно, временно и зависит от конкретной ситуации.

Наблюдение показало, что наличные – инструмент[5], с помощью которого артикулируются и решаются социальные и экономические вопросы. По тому, как вынимают, держат, кладут, передвигают и убирают наличные можно судить о намерениях и ходе мыслей участников сделки. Эти действия зачастую неосознанны и выражаются независимо от действительных мыслей участников транзакции. В этом смысле можно говорить о наличных как об объектах, которые обозначают действия[6].

Настоящая статья развивает представления исследователей, пропагандирующих прагматичный подход к пониманию значения

---

[1] Dodd N. The sociology of money. – N.Y.: Continuum, 1994.

[2] Zelizer V.A. The social meanings of money. – N.Y.: Basic books, 1994.

[3] Dodd N. The sociology of money. – N.Y.: Continuum, 1994.

[4] Habermas J. Communication and the evolution of society. – Boston (MA): Beacon paperbacks, 1979; Parsons T. Sociological theory and modern society. – N.Y.: Free press, 1967.

[5] Wittgenstein L. Philosophical investigations. – Oxford: Blackwell, 1958.

[6] Muniesa F., Millo Y., Callon M. An introduction to market devices // The sociological rev. – Hoboken (NJ), 2007. – Vol. 55, N 2. – P. 1–12.

наличных в противовес культурному и историческому[1]. В основе этой концепции лежит идея о том, что участники сделки наделяют наличные символическим значением в зависимости от ситуации, в которой находятся. Наличные при этом не несут дополнительного культурного или исторического значения. Центральными вопросами для такого подхода являются следующие: как участники транзакции используют наличные, чтобы выразить психологическое состояние (сомнение), социальные действия (оплата, отказ принять деньги) или намерение, объективизирующее наличные (подарок, пожертвование).

Прагматическое понимание символических функций наличных представляет особую актуальность в рамках дискуссии о переходе к повсеместной безналичной оплате. Если общество в значительной степени приблизится к безналичной оплате, то вместе с неоспоримыми плюсами это принесет и определенные потери, подытоживает автор. И для того чтобы понять, что именно утратит общество, необходимо четкое понимание коммуникативной и символической роли наличных [с. 810–811].

Ю.О. Кондрашова

2017.01.008. ПРИБЫЛЬСКИ Э.К., ВАЙНШТЕЙН Н. МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СЕЙЧАС СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ? КАК ПРИСУТСТВИЕ МОБИЛЬНОГО СРЕДСТВА СВЯЗИ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ.
PRZYBYLSKI A.K., WEINSTEIN N. Can you connect with me now? How the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality // J. of social a. personal relationships. – L., 2012. – Vol. 30, N 3. – P. 237–246.

Ключевые слова: качество разговора; межличностная коммуникация; мобильная связь; социальные связи.

В статье Эндрю Прибыльски и Нетты Вайнштейн из Эссекского университета (г. Колчестер, Великобритания) представлен анализ экспериментального изучения современных средств связи как факторов межличностной коммуникации; в частности исследу-

[1] Carruthers B.G., Espeland W.N. Money, meaning and morality // American behavioral scientist. – L., 1998. – Vol. 41, N 10. – P. 1384–1408.

ется влияние, которое может оказать на качество общения собеседников визуальное присутствие мобильных телефонов в момент личного разговора.

В работах социологов мобильные телефоны чаще всего рассматриваются как средство социализации и развлечения[1], которое позволяют почувствовать близость семьи, выразить заботу или оставаться на связи[2]. Таким образом, у владельцев мобильных телефонов возникает чувство привязанности к своему гаджету как ретранслятору межличностной близости и социальных связей. Однако роль мобильных телефонов в формировании межличностных отношений и стилей поведения в конкретных социальных контекстах пока еще в должной мере не исследована. В этом проблемном поле можно выделить работу Д. Стрейера, Ф. Дрюса и В. Джонстона, показавших, что использование телефонов может изменить характер реакций на внешние факторы, такие, например, как движение автотранспорта[3]. Исследования С. Плант показали, что мобильный телефон создает ощущение связи с внешним миром, которая не прерывается, даже если телефон работает в режиме «без звука»[4]. Это ощущение сохраняется и в ситуациях близких отношений: так, более половины опрошенных пар сообщили, что во время ужина они периодически отвлекаются, чтобы проверить уведомления на мобильном телефоне[5]. Л. Шривастава полагает, что наличие мобильного телефона в поле зрения его владельца наводит последнего на мысль о людях и событиях, которые отсутствуют в текущий момент времени, тем самым отвлекая его от личного переживаемого

[1] O'Keefe G.J., Sulanowski B.K. More than just talk: Uses, gratifications and the telephone // Journalism a. mass communications quart. – Columbia (SC), 1995. – Vol. 72, N 4. – P. 922–933.

[2] Leung L., Wei R. More than just talk on the move: Uses and gratifications of the cellular phone // Journalism a. mass communications quart. – Columbia (SC), 2000. – Vol. 77, N 2. – P. 308–320.

[3] Strayer D.L., Drews F.A., Johnston W.A. Cell phone-induced failures of visual attention during simulated driving // J. of experimental psychology: Applied. – Wash., 2003. – Vol. 9, N 1. – P. 23–32.

[4] Plant S. On the mobile: The effects of mobile telephones on social and individual life. – L.: Motorola, 2001. – Mode of access: http://classes.dma.ucla.edu/Winter03/104/docs/splant.pdf [Accessed 04.12.2016.]

[5] Geser H. Sociology of the mobile phone. – Zurich: Univ. of Zurich, 2002. – Unpublished manuscript.

опыта и фокусируя внимание на чужих впечатлениях[1]. Качественные интервью продемонстрировали, что даже наличие в руке мобильного телефона может отвлекать говорящего от разговора с реальным собеседником в режиме «здесь и сейчас» [с. 237–238][2].

Э. Прибыльски и Н. Вайнштейн предположили, что присутствие мобильного телефона должно в наибольшей мере сказываться на отношениях людей в момент их знакомства, когда связи между ними еще не сформировались. Снижение вовлеченности в общение и невнимание к другому участнику беседы могут повлиять на его намерение быть откровенным в разговоре, а также способствовать чувству фрустрации и изоляции. Чтобы проверить свою гипотезу, авторы статьи провели ряд экспериментов, обнаруживающих влияние гаджетов на качество коммуникации в рамках поверхностного и глубокого разговора.

Целью первого эксперимента являлось изучение влияния мобильного телефона на формирование межличностных отношений. В эксперименте приняли участие 74 студента (из них – 26 женщин, средний возраст в группе – 22 года), которые были случайным образом разделены по парам. Никто из них не был знаком до начала эксперимента. В условиях лаборатории участники должны были в течение 10 мин. обсудить, что было интересного в их жизни за последний месяц. В половине случаев на столе вне зоны прямого ви́дения (на периферии зрения) лежал мобильный телефон, в других случаях на этом месте находилась книга. После разговора участники должны были оценить качество сформировавшихся отношений и уровень эмоциональной вовлеченности. Предварительный опрос участников показал, что никто из них не считает наличие мобильного телефона препятствием для общения.

Качество отношений оценивалось по шкале истинной мотивации[3], сокращенной до семи пунктов и включавшей вопрос: «Верно ли, что мы с собеседником смогли бы стать друзьями, если бы

[1] Srivastava L. Mobile phones and the evolution of social behavior // Behaviour a. information technology. – L., 2005. – Vol. 24, N 2. – P. 111–129.

[2] Turkle Sh. Alone together: Why we expect more from technology and less from each other. – N.Y.: Basic books, 2011.

[3] McAuley E., Duncan T., Tammen V.V. Psychometric properties of the intrinsic motivation inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factor analysis // Research quart. for exercise a. sport. – Wash., 1989. – Vol. 60, N 1. – P. 48–58.

больше пообщались?». Близость с партнерами анализировалась с использованием концепции включения в свой круг другого: участники должны были выбрать один из рисунков с пересекающимися кругами, отражающих степень близости собеседников[1]. Эффект от разговора оценивался по девятизначной шкале Эммонса: от позитивного до беспокоящего и приводящего к фрустрации[2]. Анализ полученных результатов показал, что те участники, рядом с которыми находился телефон, ниже оценивали качество сложившихся отношений и степень близости с собеседником, чем те, которые краем глаза видели на столе книгу [с. 239–241].

Цель второго эксперимента заключалась в том, чтобы проследить, как меняется влияние мобильного телефона на качество коммуникации в зависимости от содержания беседы. Прибыльски и Вайнштейн предположили, что наличие гаджета мешает в тех случаях, когда собеседники намерены затронуть глубокие темы и установить близкие отношения; для поверхностного бытового разговора визуальное присутствие мобильного телефона не так существенно, поскольку он не требует глубокой вовлеченности в диалог. Отношения собеседников оценивались по двум параметрам: межличностное доверие[3] и воспринимаемая эмпатия[4].

В эксперименте приняли участие 68 студентов (среди них 43 женщины, средний возраст в группе – 23 года), которые были в случайном порядке разделены на пары. В тех же условиях а) наличия и б) отсутствия мобильного телефона парам необходимо было в течение 10 мин. обсудить одну тему. Для половины пар это была незначительная тема (пластиковые украшения), для остальных – более серьезная (самое важное событие прошедшего года). Здесь

[1] Aron A., Aron E.N., Smollan D. Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness // J. of personality a. social psychology. – Wash., 1992. – Vol. 63, N 4. – P. 596–612.

[2] Diener E., Emmons R.A. The independence of positive and negative affect // J. of personality a. social psychology. – Wash., 1984. – Vol. 47, N 5. – P. 1105–1117.

[3] Trust, variability in relationship evaluations and relationship processes / Campbell L., Simpson J.A., Boldry J.G., Rubin H. // J. of personality a. social psychology. – Wash., 2010. – Vol. 99, N 1. – P. 14–31.

[4] Reis H.T. Perceived partner responsiveness as an organizing construct in the study of intimacy and closeness // Handbook of closeness and intimacy / Ed. by D.J. Mashek, A. Aron. – Mahwah (NJ): L.E. associates, publishers, 2004. – P. 201–225.

применялись те же методики оценки результатов, что и в первом эксперименте. Для измерения новых параметров были введены дополнительные пункты опросника: чтобы определить степень межличностного доверия, оценивался уровень согласия участников с утверждением: «Я чувствую, что могу полностью доверять своему собеседнику»; для оценки воспринимаемой эмпатии использовалась шкала Дэвиса[1].

Эксперимент показал, что в обыденном разговоре (с незначительными темами) наличие или отсутствие мобильного телефона в поле зрения собеседников не влияло на качество формировавшихся отношений и уровень доверия. В этих ситуациях участники обеих групп (с телефоном и без него) также одинаково оценивали эмпатию собеседника. Совершенно другие результаты были получены применительно к тем парам респондентов, которые обсуждали серьезную тему. Качество возникших межличностных отношений и уровень доверия были значительно выше в ситуации, когда телефон отсутствовал. Эмпатия со стороны партнера также оценивалась выше, если в поле зрения собеседников не было гаджета [с. 241–244].

Оба эксперимента, пишут в заключение своей статьи Э. Прибыльски и Н. Вайнштейн, показали схожие результаты: качество отношений и уровень доверия снижались при наличии мобильного телефона на периферии зрения. Присутствие гаджета было менее существенно при обсуждении бытовых тем и приобретало большее значение, если предмет диалога оказывался важен для его участников. При этом предварительное интервьюирование респондентов показало, что влияние мобильных средств связи на качество коммуникации зачастую не осознается.

Проведенные исследования оставляют широкий спектр проблем для дальнейшего изучения. Самая главная из них, с точки зрения авторов, это вопрос о том, почему мобильный телефон мешает установлению межличностных отношений. Является ли это следствием того, что гаджет неявным образом отображает социальное окружение своего владельца и тем самым вытесняет личность другого участника диалога? Или происходящее обусловлено

[1] Davis M.H. A multidimensional approach to individual differences in empathy. – Wash.: American psychological association, 1980.

прочной эмоциональной связью владельца телефона со своим гаджетом, что побуждает его периодически прерывать диалог? Другая группа вопросов, которая ждет своего анализа, связана, по мнению Э. Прибыльски и Н. Вайнштейн, со спецификой неявного участия в межличностной коммуникации конкретного типа гаджетов (мобильный телефон, планшет, портативный компьютер), а также с выяснением их роли в контексте уже сформировавшихся отношений. На данном этапе изучения проблемы воздействия гаджетов на характер межличностной коммуникации можно считать доказанным, что мобильные телефоны, которые призваны делать людей ближе друг к другу, парадоксальным образом выстраивают стену между собеседниками и разрушают чувство доверия между ними [с. 244–245].

Ю.О. Кондрашова

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

2017.01.009. МОРНИНГ Э. А ВЫ ДУМАЛИ, МЫ ВСЕ ЭТО УЖЕ ПРЕОДОЛЕЛИ: БИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ.
MORNING A. And you thought we had moved beyond all that: Biological race returns to the social sciences // Ethnic a. racial studies. – Abingdon, 2014. – Vol. 37, N 10. – P. 1676–1685.

Ключевые слова: раса; биология; генетика; социология; гендер.

Относительно недавно на страницах авторитетных научных изданий социологи вели активную полемику вокруг тезиса о том, что расовые категории соотносимы с генетически различными группами в границах человеческой популяции. Возникло предложение рассматривать расу как социально конструируемую систему категоризации, связанную с биологическим распределением по группам внутри нашего вида. Однако автор настоящей статьи – ассоциированный профессор кафедры социологии Нью-Йоркского университета Энн Морнинг – обращает внимание на то, что сами статистически выведенные генетические кластеры являются мыслительной конструкцией, и высказывает сомнения в правильности постановки вопроса о необходимости совмещения «субъективных» социальных категорий с «объективными» биологическими [с. 1676].

Во введении автор отмечает, что в свое время, начав работать над диссертацией, которая позднее легла в основу ее наиболее известного произведения – «Природа расы: Как ученые мыслят и объясняют различие между людьми»[1] – она столкнулась с весьма

[1] Morning A. The nature of race: How scientists think and teach about human difference. – Berkeley: Univ. of California press, 2011.

скептическим отношением коллег, полагавших, что «все в курсе, что раса является социальным конструктом», а значит и исследовать нечего [с. 1676]. Но представление критиков о единстве академического сообщества в оценке расовой классификации оказалось весьма преувеличенным. По прошествии нескольких лет с момента выхода из печати «Природы расы» в двух уважаемых научных журналах были опубликованы социологические статьи Джианнбин Ли Шиао, Гуанг Гуо и соавторов, утверждающие наличие взаимосвязи между расами и биологическими группами. Эти работы, а также факт проведения в рамках ежегодного собрания Американской социологической ассоциации (ASA) специальной сессии под названием «Оценивая современную генетику и ее потенциальный вклад в социальные науки» («Interrogating contemporary genetics and its potential contribution to social science») (2013) стали своеобразным маркером возвращения биологии в пространство социальных наук. Прогнозируя новый виток дебатов о соотношении биологического и социального в понятии расы, Энн Морнинг достаточно прямолинейно заявляет, что «с учетом доминирования США в производстве научной информации по всему миру, это станет феноменом с которыми столкнутся и ученые за пределами Северной Америки» [с. 1676–1677].

Описывая проникновение в научное сообщество идеи о том, что конструктивистская перспектива расы должна быть дополнена с учетом новых открытий в области генетики, Э. Морнинг подробно разбирает работу социологов Джианнбин Ли Шиао, Томаса Боде, Эмбер Бейер и Даниэля Селвига «Геномный вызов социальному конструированию расы». Вышеперечисленные авторы утверждают, что получившей широкое распространение теории социального конструирования расы «не достает биологической реальности», и она «неуместно обременена... концепцией биологической вариативности, идущей не в ногу с последними достижениями в области генетических исследований»[1] [с. 1677].

Говоря о новейших открытиях в области исследования генома человека, Шиао и соавторы выделяют целую группу написанных в период с 2000 по 2007 г. работ, в которых были подвергнуты

[1] The genomic challenge to the social construction of race / Shiao J.L., Bode T., Beyer A., Selvig D. // Sociological theory. – L., 2012. – Vol. 30, N 2. – P. 67–69.

строжайшей проверке методы идентификации генетически различных групп внутри человечества как вида. Одни специалисты – в частности Эстебан Бурхард и Нил Риш – отождествили эти статистически выведенные группы, традиционно обозначаемые как «кластеры» (хотя Шиао предпочитает использовать определение «клинальные классы»), с расами и даже с этническими группами. Другие – например, Джоан Фукимура и Рамия Рахагопалан – заняли прямо противоположную позицию, а иные и вовсе активно отрицают наличие какой-либо связи между «кластерами», т.е. реально существующими группами и сложившимися за долгое время обозначениями рас. Так, по итогам исследования генетической вариации ферментов, метаболизирующих лекарственные средства, Джеймс Уилсон с соавторами пришли к выводу, что «широко используемые этнические определения (такие как «черные», «белые», «азиаты») представляют собой грубые и недостаточно полные описания генетической структуры человечества» [с. 1677][1].

В рамках того же исследовательского подхода, что и работа Ли Шиао и соавторов, с точки зрения Э. Морнинг, написана опубликованная в 2014 г. в журнале «Демография» статья коллектива социологов (Гуанг Гуо, Йилан Фу, Хедвиг Ли, Тианджи Кай, Кэтлин Муллан Харрис, Йи Ли) под названием «Генетическое биородство и социальное конструирование расовой классификации в социальных исследованиях в современных США». Подобно Дж. Шиао Г. Гуо и соавторы стремятся связать генетические индивидуальные личностные черты с расовыми категориями. Используя данные программы STRUCTURE, они предприняли попытку выявить процент «африканского» и «европейского» происхождения в двух выборках по молодежи США с тем, чтобы в дальнейшем сопоставить эти генетические индикаторы с расовой самоидентификацией индивидов[2] [с. 1678].

Э. Морнинг постулирует, что ни Дж. Шиао, ни Г. Гуо не делают прямолинейных заявлений о полном совпадении социальных

[1] Population genetic structure of variable drug response / Wilson J.F., Weale M.E., Smith A.C., Gratrix F., Fletcher B., Thomas M.G., Bradman N., Goldstein D.B. // Nature genetics. – L., 2001. – Vol. 29, N 3. – P. 265–269.

[2] Genetic bio-ancestry and social construction of racial classification in social surveys in the contemporary United States / Guo G., Fu Y., Lee H., Cai T., Harris K.M., Li Y. // Demography. – N.Y., 2014. – Vol. 51, N 1. – P. 141–172.

расовых категорий с просчитанными биологами генетическими кластерам, однако, по ее мнению, они подходят к этому выводу опасно близко, когда говорят об обнаружении эквивалентности между генетическим биородством и расовым самоопределением.

Соглашаясь, что расовые и этнические категории, которыми мы оперируем, являются социальными конструктами, обе группы ученых тем не менее утверждают существование неких «объективных» генетически различных кластеров человечества, которые доступны научному измерению и в определенной степени служат основой используемых нами социально-политических маркеров. Как отмечает Дж. Шиао, генетические клинальные классы являются «биологическими дубликатами социально конструируемой расы / этничности; они отражают объективное, натуральное, биологическое “измерение родства”, сопоставленное с субъективным, конструируемым “восприятием родства”»[1]. Г. Гуо указывает, что «мы можем узнать, насколько “социальны” наши категории, лишь сумев извлечь из них то, что относится к биологии; социальное вступает в игру, когда уходит биологическое, и в настоящее время благодаря прорывным открытиям в генетике мы можем отделить одно от другого»[2] [с. 1679].

Дж. Шиао пишет, что дихотомия между социально конструируемой «расой» и генетическим биородством является отголоском фундаментального для феменизма разграничения пола и гендера. Но, уточняет Э. Морнинг, феменистская парадигма предлагает исследователю вовсе не тот урок, что был извлечен ее коллегой. Феминизм говорит о том, что даже наши лучшие приближения к миру природы всегда опосредованы социально. Как признают сами разработчики статистических методов для определения генетических кластеров, утвердившиеся в обществе научные практики и предпосылки напрямую определяют конструируемые ими схемы категоризации.

С точки зрения Э. Морнинг, представление о том, что циркулирующие в публичном пространстве расовые категории (например

[1] The genomic challenge to the social construction of race / Shiao J.L., Bode T., Beyer A., Selvig D. // Sociological theory. – L., 2012. – Vol. 30, N 2. – P. 77.

[2] Genetic bio-ancestry and social construction of racial classification in social surveys in the contemporary United States / Guo G., Fu Y., Lee H., Cai T., Harris K.M., Li Y. // Demography. – N.Y., 2014. – Vol. 51, N 1. – P. 142.

те, что используются в переписи населения США) берут начало в наших базовых биологических характеристиках, свидетельствует о глубоком непонимании истории и природы расы. Утверждать, что расы являются биологическими категориями, недостаточно корректно отражаемыми в социальной сфере, значит поворачивать науку вспять. Вне зависимости от того, каких высот достигла генетика в своем развитии, подчеркивает автор, мы не должны забывать, что «не специалисты в области генома человека стоят у руля, когда речь заходит о развитии идей относительно расы» [с. 1680]. Подобно «передовым» наукам прошлого – таксономии, краниометрии, антропометрии и серологии – «когда дело касается расовых вопросов, генетика со всеми ее "рюшечками и кружавчиками" просто служит закреплению картины мира, сложившейся к VIII-му веку: представлению о том, что "в реальности" существуют черные и белые, желтые и красные люди», независимо от любых культурных связей или характерных для нашего общества тенденций [там же].

Импортируя методы и находки генетики в социальную науку, авторы, подобные Дж. Шиао и Г. Гуо, прокладывают новый путь отображению взаимосвязей между расовыми и биологическими свойствами. Однако, как заявляет Э. Морнинг, ученым, работающим в этой чувствительной области, нельзя забывать о том, что используемые нами категории нами же и сконструированы. Как наглядно продемонстрировала социология науки, наши знания и характер интерпретации окружающего мира – названные Ван Флеком «идеовидением» – определяют то, что будет в этом мире «открыто», даже когда мы уверены в объективности произведенных измерений и непредвзятости собственного анализа. Наблюдаемый в наши дни ренессанс обсуждения расовых вопросов является еще одним проявлением многовекового стремления Запада найти такое научное оправдание несправедливости, которое бы позволило приписать социальное неравенство силам, лежащим за пределами сферы общественных отношений [с. 1680].

Автор отмечает, что, в конечном итоге, стремительное накопление знаний в области генетики приводит к «блэк-боксингу», если рассуждать в терминах Бруно Латура, понятия «раса». Этот процесс представляется тем более настораживающим, поскольку его результатом оказывается идентификация «более престижных» естественных наук, как последней инстанции в решении вопросов

природы расы. Иллюстрируя обоснованность своих опасений, Э. Морнинг упоминает получивший широкую огласку в западном академическом сообществе эпизод с участием доктора Джеймса Уотсона, одного из первооткрывателей структуры молекулы ДНК и лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1962 г. Беседуя с журналистом, ректор научно-исследовательской лаборатории Колд-Спринг-Харбор не постеснялся заявить, что социальная политика, проводимая цивилизованными странами по отношению к Африке, обречена на провал, поскольку основана на том, что негры по врожденным интеллектуальным способностям ничем не отличаются от белых, в то время как «все опыты говорят, что это не так» и «люди, которым доводилось иметь дело с черными работниками, знают, что это неправда» [с. 1681].

Возможно, пишет в заключении Э. Морнинг, один из наиболее продуктивных итогов дискуссии, открытой работами Дж. Шиао и Г. Гуо, состоит в появлении у социологов желания критически осмыслить и определить границы применимости тезиса о разнообразии людей, коренящемся в биологии человека. Необходимо, чтобы голос социологии вновь зазвучал в публичном пространстве, а не только внутри академического сообщества, ведь (ре)биологизация расы происходит за пределами «башни из слоновой кости». Понятие расы, как фиксированных генетических характеристик, находит свое применение в медицине, генеалогических ДНК-тестах, публицистике, медиа [с. 1682]. И завершает свою статью-предостережение автор цитатой из речи известного американского антрополога Нины Яблонски, произнесенной ею на ежегодном заседании Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) (2014): «Мы обязаны постоянно отслеживать, как используется и интерпретируется информация о разнообразии, обусловленном человеческими генами. Любая мировоззренческая система, пытающаяся разделить человечество на основе генетического профиля или различных физических или интеллектуальных характеристик, просто неприемлема в обществе»[1] [с. 1683].

А.М. Понамарева

[1] Цит. по: Messer A.E. Scientific racism's long history mandates caution // Penn State News. – University Park (PA), 2014. – Feb. 14. – Mode of access: http://news.psu.edu/story/304151/2014/02/14/research/scientific-racisms-long-history-mandates-caution [Accessed 26.12.2016.]

2017.01.010. ЛОГАН Н. ИНИЦИАТИВА *STARBUCKS* «RACE TOGETHER»: АНАЛИЗ PR-КАМПАНИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РАСЫ.
LOGAN N. The Starbucks Race Together initiative: Analyzing a public relations campaign with critical race theory // Public relations inquiry. – L., 2016. – Vol. 5, N 1. – P. 93–113.

Ключевые слова: раса; критическая расовая теория; связи с общественностью; пиар; Starbucks.

В 2014 г. по США прокатилась серия «расовых» протестов, связанных с начинающими приобретать системный характер фактами гибели безоружных чернокожих подозреваемых от рук белых офицеров полиции. События подобные инциденту в Фергюсоне[1] положили начало движению «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»), направленному против полицейской жестокости и расовой дискриминации. Недовольство афроамериканцев итогами разбирательства по делу в Фергюсоне вылилось в ряд мирных демонстраций под лозунгом «Hands Up, Don't Shoot» («Руки вверх, не стреляйте»). Эти слова были призваны обратить внимание общественности и правоохранителей на то, что отнюдь не сопротивление при задержании стало реальной причиной убийства темнокожего подростка Майкл Брауна. На этом фоне сеть кофеен *Starbucks* запустила социальную кампанию, ориентированную на поддержание продуктивной дискуссии о расовых проблемах в США: барриста должны были писать слоган «Race Together» на стаканчиках посетителей и обсуждать с клиентами вопросы дискриминации по цвету кожи[2]. Данная инициатива, вызвавшая широ-

[1] 9 августа 2014 г. в Фергюсоне (США) 18-летний невооруженный афроамериканец Майкл Браун был застрелен белым полицейским Дарреном Уилсоном. Очевидцы свидетельствовали, что офицер стрелял в Брауна, когда тот поднял руки вверх, демонстрируя свою безоружность. При этом сторонники Уилсона утверждали, что Браун проявил агрессию и даже попытался завладеть оружием полицейского. Неспособность правоохранительных органов предоставить четкие ответы на возникшие в связи с гибелью подростка вопросы привела к тому, что мирные акции скорбящих друзей и родственников Брауна обернулись беспорядками и многодневным противостоянием с полицией. – *Прим. реф.*

[2] В данном случае была использована особая традиция сети *Starbucks*, когда имя заказавшего кофе барриста пишет на стакане. С момента начала кампании, помимо имени клиента, на стакане стали писать еще и фразу – race together, снаб-

кий резонанс в СМИ и социальных медиа, тем не менее столкнулась с серьезной публичной критикой: на руководство компании посыпались обвинения в лицемерии и попытках заработать политические очки на чужом горе. В рамках настоящей статьи Ннека Логан (Виргинский политехнический институт, США), используя в теоретической рамке исследования положения критической расовой теории, на основе углубленного изучения социальных аспектов акции «Race Together» выявляет потенциальные последствия корпоративных PR-кампаний, строящихся на обращении к таким чувствительным темам, как раса.

Автор не разделяет оптимизма отдельных ученых, констатирующих, что процент расистов среди «миллениалов» ниже в сравнении с предыдущими поколениями, а следовательно, есть основания надеяться на относительно скорое и благополучное разрешение расового вопроса в США. По ее мнению, расизм присутствует в американском обществе как на индивидуальном, так и на структурном уровнях, причем в последнем случае он носит характер систематического явления. Доказывая этот тезис, Н. Логан ссылается на результаты, полученные Дж. Глейзером и Э. Ноулзом[1] в ходе исследования взаимосвязи индивидуальных имплицитных установок и социальных стереотипов [с. 93–94].

Начиная свою работу с краткого обзора истории становления паблик рилейшнз, автор указывает причины нечастого обращения соответствующих специалистов к расовой проблематике. «Связи с общественностью» как отдельное направление деятельности больших корпораций возникли в форме неолиберального экономического дискурса, нацеленного на обслуживание интересов элиты. Подобная узкоспециализированная фокусировка на достижении организационных целей крупного бизнеса имела своим следствием теоретическое и практическое дистанцирование пиара от этических и моральных сюжетов, в том числе и от обращения к вопросам со-

женную значком хэштега. При всей своей лаконичности данный слоган многозначен. «Race» может восприниматься не только как существительное «раса», но и как глагол – «бежать на соревновании»: – а значит, служить призывом к действию. Соответственно, общий смысл может быть выражен фразой «Движемся к единству рас». – *Прим. реф.*

[1] Glaser J., Knowles E. Implicit motivation to control prejudice // J. of experimental social psychology. – Amsterdam, 2008. – Vol. 44, N 1. – P. 164–172.

циальной справедливости во взаимодействии рас. Многолетняя практика воспрепятствования полноценной интеграции чернокожих в американскую экономическую систему, наряду с отказом им в праве равного доступа к определенным сферам занятости, обернулась социальной кодификацией пиара в массовом сознании как профессии «исключительно для белых». Таковой она оставалась в течении долгого времени, что также объясняет последовательное игнорирование работниками сферы связей с общественностью вопросов расы и социальной справедливости [с. 95–96].

Тем не менее, несмотря на то что расовые отношения практически не попадали в поле интереса авторов научных работ в области паблик рилейшнз, отдельные специалисты все же обращались к этой непростой проблематике. В одном из первых исследований взаимосвязи между практикой PR и расовой принадлежностью Э. Холси выявил особенности просветительской деятельности одного из величайших «цветных» борцов за права чернокожего населения – Букера Талиафера Вашингтона – проанализировав в числе прочего, его усилия по развитию Института Таскиги в Алабаме (в настоящее время – Университета Таскиги) – старейшего (1881) учебного заведения США, где традиционно подавляющее большинство студентов и преподавателей составляют афроамериканцы[1]. Специфика воздействия фактора расы в период организационных кризисов была раскрыта в работах Б. Фишер-Лю, С. Хонг и М. Лен-Риос, Д. Ваймера[2]. Отличительные черты восприятия «цветными» женщинами месседжей пиар-кампаний в области здравоохранения выявили Н. Тиндалл и Дж. Вардемен-Винтер[3].

[1] Holsey A. Public relations institutions of Booker T. Washington // Public opinion quart. – N.Y., 1948. – Vol. 12, N 2. – P. 227–235.

[2] Fisher-Liu B. Effective public relations in racially charged crisis: Not black or white // The handbook of crisis communication / Ed. by W.T. Coombs, Sh.J. Holladay. – Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 335–358; Hong S., Len-Rios M.E. Does race matter? Implicit and explicit measures of the effect of the PR spokesman's race on evaluations of spokesman source credibility and perceptions of a PR crisis' severity // J. of public relations research. – Abingdon, 2015. – Vol. 27, N 1. – P. 63–80; Culture, social class and race in public relations: Perspectives and applications / Ed by D. Waymer. – Lanham (MD): Lexington books, 2012.

[3] Tindall N.T.J., Vardeman-Winter J. Complications in segmenting campaign publics: Women of color explain their problems, involvement and constraints in reading heart disease communication // Howard j. of communications. – Abingdon, 2011. – Vol. 22, N 3. – P. 280–301.

К. Белл продемонстрировала, как за счет воспроизводства негативных стереотипов PR-кампании трансформируют представление о расе в массовом сознании[1].

Интеграция расовой проблематики в сферу теории связей с общественностью способствовала углублению данного направления исследований. При этом обозначилась необходимость обращения к критическим подходам в изучении расы. Научное признание данного факта нашло свое отражение в материалах специального выпуска издания «Journal of public relations research» (октябрь, 2011). За последние годы, подчеркивает Н. Логан, исследования расы в рамках социологии связей с общественностью прошли серьезный путь от простого описания опыта восприятия дискриминационных практик отдельными представителями меньшинств до анализа процесса расиализации[2], оказывающего влияние как на сферу паблик рилейшнз, так и на все общество в целом [с. 97].

Определяя перспективные направления совмещения расовых и PR-исследований, автор утверждает, что привлечение положений критической расовой теории в теорию и практику связей с общественностью расширяет горизонты научного анализа. Выбравшись из колеи узкого функционалистского подхода, социология переходит к решению задач более высокого, этического плана – содействию социальным изменениям, направленным на искоренение скрытого неравенства по цвету кожи. Обращение к нормам критической расовой теории позволяет PR взять на себя роль балансирующего механизма между стремлением корпораций к получению максимальной прибыли и социальной ответственностью бизнеса [с. 98].

Аналитический каркас исследования Н. Логан образуют четыре ключевые предпосылки критической теории расы: 1) поста-

[1] Bell K.M. «A delicious way to help save lives»: Race, commodification and celebrity in product (RED) // J. of international a. intercultural communication. – Abingdon, 2011. – Vol. 4, N 3. – P. 163–180.

[2] В социологию расовых отношений термин «расиализация» ввел британский социолог Майкл Бентон (Banton M. The idea of race. – L.: Tavistock, 1977). См. подробнее: Barot R., Bird J. Racialization: The genealogy and critique of a concept // Ethnic a. racial studies. – Abingdon, 2001. – Vol. 24, N 4. – P. 607–608. Затем его подхватил Роберт Майлз для обозначения «таких ситуаций, где социальные отношения между людьми структурируются на основе их биологических особенностей, что ведет к выделению и конструированию различающихся между собой социальных общностей» (Miles R. Racism. – L.: Routledge; 1989. – P. 75). – *Прим. реф.*

новка понятия «раса» в центр научного рассмотрения; 2) фиксация того, что доминирующие группы зачастую испытывают определенные трудности с признанием дискриминационной роли расового фактора в обществе; 3) утверждение необходимости более чуткого отношения к голосу и жизненному опыту расовых меньшинств; 4) стремление к расовому равенству. С вышеперечисленными положениями автор соотносит историю проведенной *Starbucks* PR-кампании, транслируемые ею смыслы и выявленные в ходе ее реализации социальные проблемы.

Опираясь на метод кейс-стади, Н. Логан разбирает основные составляющие инициативы «Race Together». Она обрисовывает профиль деятельности корпорации *Starbucks* и сложившееся в ней понимание степени ответственности бизнеса перед обществом; перечисляет социальные факторы, сработавшие как катализаторы кампании; описывает задействованные в проведении акции коммуникационные ресурсы. В ходе исследования данные об общественной реакции на «Race Together», полученные в результате контент-анализа новостных лент и сообщений в Twitter, были обобщены с тем, чтобы выделить ключевые аргументы критиков и сочувствующих. Информационную базу работы составили материалы, относящиеся к первым дням начала реализации кампании – периоду с 15 по 31 марта 2015 г. – поскольку именно в это время наблюдался пик активности СМИ и пользователей социальных сетей [с. 99–104].

Автор констатирует, что в акции «Race Together» воплотились все четыре уже упоминавшихся выше ключевых постулата критической теории расы.

Во-первых, сделав вопросы расы определяющими в рамках специализированной PR-кампании, корпорация *Starbucks* не только легитимировала представление о том, что расизм все еще остается проблемой для США, но и способствовала формированию значимого пространства обсуждения расовых вопросов. В справочных материалах кампании содержались конкретные примеры расовой дискриминации и негативных социальных эффектов последней. Так, в частности, представляются показательными результаты проведенного в ходе акции теста на бессознательный расизм. В кадровые отделы нескольких юридических фирм был направлен одинаковый текст, содержавший 22 грамматические ошибки. В случае когда кадровики исходили из предположения о том, что автор дан-

ной служебной записки был «белым», они демонстрировали снисходительное отношение к проявленной безграмотности и стремились подчеркнуть хорошие аналитические способности кандидата. Если же участники эксперимента полагали автора справки «черным», критические замечания не сглаживались и звучали крайне резко [с. 104].

Во-вторых, были выявлены проблемы с признанием факта расовой дискриминации у представителей доминирующих групп. В рамках специальных встреч люди делились своим личным опытом переживания неравенства, и многие истории открывали классическим ВАСПам[1] американскую действительность с не очень приятной стороны. Так весьма поучительным стал растиражированный в материалах кампании рассказ члена совета директоров *Starbucks* Меллоди Хобсон о том, как одном из нью-йоркских отелей ее саму и довольно известного сенатора приняли за прислугу, просто на основании того, что они оба являются чернокожими.

В-третьих, инициированная *Starbucks* дискуссия о сути скрытого расизма дала возможность высказаться представителям меньшинств, что было призвано способствовать повышению сознательности общества. Превратив свои кофейни в пространства открытого обсуждения, корпорация содействовала развитию национальной дискуссии о сути и путях преодоления расовых проблем.

В-четвертых, одно только решение отважиться поговорить на столь чувствительную тему стало очевидным шагом вперед по направлению к достижению расового равенства [с. 105].

При этом отдельные аспекты практической реализации инициативы сопровождались агрессивным неприятием части общества. Критики «благих намерений» руководства *Starbucks* высказывали сомнения в искренней приверженности самой корпорации декларируемым ею ценностям. Многие отмечали неготовность обычных барриста брать на себя роль психологов и продуктивно, не забывая о своей изначальной функции и не задерживая очередь желающих выпить кофе, вести разговоры о дискриминации. Под-

[1] От англ. акронима WASP (*White Anglo-Saxon Protestant)*, что дословно обозначает «белый протестант англосаксонского происхождения». Так в середине XX в. в странах Северной Америки называли представителей европеоидной расы, «чистокровных» американцев, составляющих элиту общества США. – *Прим. реф.*

черкивалась оскорбительная неуместность попыток обсуждать столь болезненные темы мимоходом.

Однако, как заключает автор, активная критика ряда особенностей кампании «Race Together» вовсе не свидетельствует о провале самой акции. В качестве корпоративной инициативы она, воплотив в себе все основные элементы критической расовой теории, проложила дорогу аналогичным кампаниям других организаций, заинтересованных в понимании и искоренении глубинных причин неравенства по цвету кожи.

А.М. Понамарева

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ

2017.01.011. СЛИЗ А., ЩЕПАНЬСКИЙ М.С. ГЕНЕАЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ: ПОПЫТКА ОБЩЕГО ОСМЫСЛЕНИЯ.
ŚLIZ A., SZCZEPAŃSKI M.S. A genealogy of sociological theories: An attempt at general reflection // Polish sociological rev. – W-wa, 2015. – Vol. 191, N 3. – P. 355–379.

Ключевые слова: социологические теории «Севера» и «Юга»; теория модернизации; теория зависимости; экзогенные и эндогенные факторы развития.

Польские социологи Анна Слиз (Опольский университет) и Марек Щепаньский (Силезский университет) выявляют глубинные причины асимметричного развития современной теоретической социологии, выражающегося в однозначном доминировании западных концептуальных систем. Авторы условно разграничивают социологические теории «Севера» и «Юга», чтобы показать, каким образом происходило утверждение интеллектуального превосходства одних и какие альтернативные концепции возникали в качестве противовеса. В подтверждение своих доводов, авторы представляют исторический обзор основных социологических теорий развития и изменения. Ссылаясь на работу Р. Коннела «Южная теория: Глобальная динамика знания в социальной науке»[1], А. Слиз и М. Щепаньский отмечают, что решение современных глобальных проблем требует целостного подхода, а следовательно, нельзя ограничиваться только теми теоретическими системами, которые были созданы в Европе и Северной Америке. В связи с этим они предлагают пересмотреть состояние современной социологии с

[1] Connell R. Southern theory: The global dynamics of knowledge in social science. – Cambridge; Malden (MA): Polity, 2007.

учетом специфики развития незападных стран, а также возникающих там идей и научных теорий.

Авторы указывают, что дихотомия «Север–Юг» в качестве научного концепта стала активно использоваться в 1960-е годы. С ее помощью демонстрировался разрыв, возникший между богатыми индустриальными государствами «Севера» и бедными, в основном сельскохозяйственными, странами «Юга», относящимися преимущественно к регионам Африки, Азии и Латинской Америки. По мере того как существующие между странами различия стали все чаще описываться с позиции теорий модернизации, рассматриваемая дихотомия окончательно закрепилась в социальных науках. В то же время в последние десятилетия XX в. на «Юге» появилось множество значимых идей, теорий и концепций, объясняющих социально-экономическое отставание незападных стран. В частности, речь идет о постколониальных теориях – совокупности концептуальных дискурсов, осознающих себя в единой рамке критических программ, направленных на преодоление последствий экономической, политической, но прежде всего культурной и интеллектуальной зависимости «незападного» мира от «западных» образцов и прототипов. В качестве противовеса теории модернизации возникли теория зависимости и теория эндогенного развития. Однако с появлением этих двух концепций асимметрия в социальных науках не исчезла. Как отмечают авторы, «политические, образовательные и экономические системы создаются в странах с наибольшим влиянием на изменение и развитие современного мира, в метрополиях и мегаполисах, способствуя их дальнейшему расширению, благоприятствуя новым формам господства и даже углублению глобального неравенства» [с. 358]. Таким образом, теории «Севера» приобретают универсальный статус, а альтернативные точки зрения не получают всеобщего признания и интеллектуальной легитимности. Истоки сложившейся ситуации авторы видят, в первую очередь, в истории развития Европы и ее имперской политике, а затем – в доминирующем положении США на мировой арене.

Социология, оформившаяся как самостоятельная наука в XIX в. в Западной Европе, гибко реагировала на происходившие социально-экономические, политические и культурные изменения (Просвещение, политические революции, промышленный переворот, секуляризация и др.). По мнению А. Слиз и М. Щепаньского, тео-

рии и концепции, введенные первыми европейскими социологами (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер), не только стали доминантой глобального социологического мышления, но и зафиксировали «монополию на истину», описав и «запрограммировав» пути развития для всех без исключения обществ [с. 361]. Например, М. Вебер, соединив идею протестантизма с развитием капитализма, показал, что религиозная этика сыграла решающую роль в переходе от традиционного к капиталистическому обществу. В XX в. лидерство в развитии социологической теории постепенно взяли на себя США. Примерами теорий и концепций, которые получили неоспоримое преобладание в социальных науках, стали структурный функционализм и символический интеракционизм.

Для того чтобы показать, как социологическая теория содействовала сохранению существующего порядка, А. Слиз и М. Щепаньский обращаются к рассмотрению социологического описания изменения и развития. В целом различные теории изменения можно подразделить на экзогенные и эндогенные: первые фокусируются на роли внешних факторов в изменениях; вторые обращаются к внутренним факторам. Наиболее известными экзогенными теориями развития являются теория модернизации и теория зависимости.

Теоретики модернизации трактуют развитие как эволюционный и однолинейный процесс. Среди исследователей преобладает точка зрения, согласно которой вектор модернизации одинаков для всех обществ, и его условно можно изобразить как переход от отсталого традиционного общества к постиндустриальному современному. Таким образом, теоретики модернизации заявляют, что модели развития, разработанные на «Севере», должны использоваться в качестве образца для подражания во всем мире, поскольку такой способ эволюции является единственно верным и успешным. А. Слиз и М. Щепаньский считают, что теория модернизации отчетливо фиксирует не только цивилизационное доминирование стран «Севера», но и их интеллектуальное превосходство [с. 365].

Однако европоцентризм таких моделей развития со временем вызвал множество вопросов и был подвергнут жесткой критике со стороны ряда исследователей. Практика показала, что имитация прохождения заданного пути совсем не обязательно приводит к одному и тому же итогу. Кроме того, теория модернизации игнорирует некоторые важные аспекты развития «Юга», в частности,

значительно больше внимания уделяется проблемам города, в то время как большинство населения в странах Азии, Африки и Латинской Америки остается сельским. Тем не менее после всесторонней критики теория модернизации не была предана забвению. Авторитетные теоретики У. Бек, Э. Гидденс и С. Лэш ввели в научный оборот понятие рефлексивной модернизации, которая, по мнению создателей, ломает привычные контуры индустриального общества и открывает пути к другому Модерну. В их понимании процесс модернизации начинает проистекать непредсказуемо и стремительно, в ходе чего возникает общество риска. Непредвиденные опасности общества риска требуют постоянной саморефлексии и рациональности в расчетах рисков. Таким образом, классический взгляд на модернизацию как на безальтернативный процесс, проистекающий в рамках неизменных структур, был сильно трансформирован.

Социальные изменения с точки зрения внешних факторов также описывает теория зависимости. Возникнув на «Юге», эта неомарксистская по своей сути концепция приобрела заметную популярность, составив сильную конкуренцию теории модернизации. Представители данной школы исследований (А.Г. Франк, Р. Пребиш, Ф. Кардозу, С. Фуртадо, И. Валлерстайн и др.) постулируют тезис о том, что внешнее воздействие более развитых стран на менее развитые государства скорее тормозит прогресс «слабых» и «цементирует» существующее неравное положение.

А. Слиз и М. Щепаньский отмечают, что в рамках теории зависимости можно выделить три основные направления исследований: теорию абсолютной зависимости и господства, дополненную концепциями неравномерного обмена и неравномерного накопления в мировом масштабе; исследование субимпериализма, т.е. сохранения формата отношений метрополия–колония даже после формального обретения страной независимости; мир-системный анализ (деление мира на центр, полупериферию и периферию) [с. 369]. При описании сложившегося порядка отмечается и то, что зависимость имеет не только экономическое измерение, она также осуществляется на уровне культур и институтов с применением «символической власти» (по П. Бурдье и Ж.-К. Пассерону). В целом теория зависимости обратила внимание на те аспекты развития стран «Юга», которые теория модернизации игнорировала: в част-

ности, была рассмотрена поляризующая роль колониальной и постколониальной политики в формировании современного экономического, политического и культурного порядка в мировом масштабе. Однако в качестве критического дополнения отмечается, что теория зависимости уделяет мало внимания внутренним факторам развития.

Критика теории модернизации и теории зависимости привела некоторых исследователей к пониманию того, что не существует универсальной модели или теории развития. Осознание этого факта инициировало новые попытки научного сообщества осмыслить развитие и изменения в странах Африки, Латинской Америки и Азии. Учет критических замечаний по отношению к теории модернизации и теории зависимости требовал сфокусироваться на внутренних ресурсах и потенциале конкретных стран. Таким образом, активнее стали разрабатываться теории эндогенного развития.

В истории социологии XX в. подобные концепции уже обсуждались. В частности, авторы статьи ссылаются на введенное П.А. Сорокиным понятие имманентного изменения, характеризующее множественность внутренних факторов развития. Современные исследователи при анализе эндогенных факторов развития выдвигают на первый план роль местных сообществ, которые рассматриваются в качестве главных инициаторов изменений. Историческим примером успешности опоры на эндогенные факторы является практика ненасильственной борьбы М. Ганди за независимость Индии от Британской империи. М. Ганди предложил концепцию самоуправления (сварадж), которая основана на самостоятельном децентрализованном управлении и экономической автономии.

Для успешности применения теории эндогенного развития необходимо, чтобы страны «Юга» переформатировали свои отношения со странами «Севера». Ослабление зависимости от «Севера» должно сопровождаться самостоятельным развитием и «коллективным самообеспечением». Страны «Юга», снижая экономическую и политическую зависимость от «Севера», могут, например, заключать многосторонние взаимовыгодные соглашения для поддержки своей автономии. Этот путь развития непростой и требует значительного времени на реализацию. Перед многими отсталыми государствами «Юга» до сих пор остро стоит проблема удовлетво-

рения базовых потребностей человека в пище, воде, жилье, медицинской помощи и т.д. Только после решения этих задач можно переходить к серьезным экономическим и политическим реформам. К сожалению, констатируют авторы, теория эндогенного развития пока не получила должной поддержки со стороны правительств стран «Юга». А. Слиз и М. Щепаньский, понимая, что они затронули лишь малый аспект более широких и глубоких вопросов социальных наук, все же считают, что настойчивость интеллектуалов «Юга» со временем позволит им включиться в герметичный академический мир «Севера».

А.Ю. Долгов

2017.01.012. ГИЛЛЕАРД К., ХИГГС П. КАК НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПСИХОЛОГИЕЙ И СОЦИОЛОГИЕЙ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ: НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ.
GILLEARD Ch., HIGGS P. Connecting life span development with the sociology of the life course: A new direction // Sociology. – L., 2016. – Vol. 50, N 2. – P. 301–315.

Ключевые слова: психология и социология жизненного пути; поздний модерн; рефлексивность; Э. Эриксон; М. Арчер.

В статье известных британских социальных исследователей Криса Гиллеарда и Пола Хиггса (Лондонский университетский колледж), специалистов в области социальной геронтологии и медицинской социологии, обсуждается проблема наведения мостов между социологией и психологией индивидуального жизненного пути. Плодотворный диалог и обмен идеями между этими направлениями социального исследования (которые авторы именуют субдисциплинами) необходимы для более глубокого и целостного осмысления жизненного пути личности позднего модерна, отмеченного печатью саморефлексивности, индивидуализации и дестандартизации. Сопоставляя особенности социологического и психологического подходов к проблеме значимых возрастных и социопсихологических транзитов человека в XXI столетии, Гиллеард и Хиггс приходят к заключению о «своевременности расширения парадигмы изучения жизненных траекторий взрослеющего индивида» [с. 311]. Британские социологи настаивают на включение в теоретические модели жизненного пути личности позднего модер-

на тех его этапов, которые располагаются «по ту сторону» взросления и охватывают зрелость, старость и глубокую старость (четвертый возраст). Отправным пунктом для такого теоретического и методологического поворота, который, по их мнению, будет способствовать сближению социологии и психологии жизненного пути, Гиллеард и Хиггс считают возрождение интереса к концепции эпигенетического развития личности известного американского психолога прошлого века Э. Эриксона[1]. Реанимация и частичная модернизация его идей, основательно забытых современными социальными исследователями, поможет определить «альтернативную точку отсчета» для обеих субдисциплин, занятых теорией жизненного цикла, и найти новые толкования рефлексивности и индивидуализации жизненных траекторий в терминах социологии и психологии, считают авторы [с. 302].

Обращаясь к истории становления дисциплины, которую сегодня называют социологией жизненного пути, Гиллеард и Хиггс в первую очередь упоминают работы Глена Элдера[2]. Еще в середине 1970-х годов Элдер писал о становлении социологической парадигмы, фокусом которой являются социальные силы, формирующие жизненный путь индивида на протяжении его развития, а также последствия этого развития. Спустя 20 лет Элдер (являющийся, по сути, основателем социологии жизненного пути в ее современном виде) отмечал заметный прогресс в этой области социального знания. Он выделил два основных подхода к осмыслению данного феномена: первый сосредоточивается на изучении жизненного пути «изнутри», акцентируя обязанности, привилегии и статусные позиции, обусловленные возрастными стадиями развития индивида; второй связан с преимущественным изучением «внешней» стратификации жизненных траекторий вследствие социальных трансформаций, исторических катаклизмов и институциональных сдвигов. В настоящий момент, заключают авторы статьи, самой

[1] Erikson E.H. Life history and the historical moment. – N.Y.: Norton & Norton, 1975; Erikson E.H. Identity and the life cycle. – N.Y.: Norton & Norton, 1980; Erikson E.H. The life cycle completed. – N.Y.: Norton & Norton, 1982.

[2] Elder G.H. Age differentiation and the life course // Annual rev. of sociology. – Palo Alto (CA), 1975. – Vol. 1. – P. 165–190; Elder G.H. Time, human agency and social change: Perspectives on the life course // Social psychology quart. – L., 1994. – Vol. 57, N 1. – P. 4–15.

дискутируемой темой в рамках социологии жизненного пути являются процессы деформации возрастных стандартов, размывания временны́х границ и изменения линейного характера индивидуальных жизненных траекторий в III тысячелетии, т.е. разрушение традиционной схемы детерминации жизненных этапов и транзитов (образование, профессиональное обучение, выход на рынок труда, уход из родительского дома, создание семьи, рождение детей, вдовство и пр.) четкими институционально-хронологическими параметрами.

Сегодня значительная часть социологов оспаривает вероятность сохранения в будущем «социовозрастной институциализации» индивидуального жизненного пути, который приобретает все более уникальный и неповторимый облик под воздействием глубинных социальных процессов позднего модерна. На фоне этих дискуссий все меньше внимания уделяется тому аспекту проблемы, который особенно интересовал Г. Элдера, а именно влиянию институциональных трансформаций и новых культурных практик на процесс (по) жизненного развития человека, констатируют Гиллеард и Хиггс. Поэтому они разделяют пессимизм К. Мейера, утверждающего, что взаимосвязь психологических диспозиций личности и социально сконструированных параметров ее жизненного пути все еще ждет своего систематического исследования и концептуализации[1].

Гиллеард и Хиггс называют три причины продолжающихся разобщения способов изучения индивидуального жизненного пути в социологии и психологии. Во-первых, большинство исследователей ограничиваются сопоставлением социальных переменных и событий, характерных для разных возрастных этапов; между тем аксиома о ребенке как отце взрослого не может стать ключом к пониманию того, каким образом общество и его институты оказывают влияние на формирование конкретных жизненных траекторий. Во-вторых, перечисление жизненно важных транзитов никак не проясняет социальной природы индивидуального развития и контекстуальности биографии. В-третьих, социологический анализ

[1] Mayer K.U. The sociology of the life course and life span psychology: Diverging or converging pathways? // Understanding human development: Dialogues with life span psychology / Ed. by U.M. Staudinger, U. Lindenberger. – N.Y.: Springer, 2003. – P. 463–481.

жизненного пути выносит за скобки человеческую индивидуальность, ограничиваясь выяснением роли институтов и структур и забывая о существовании желаний, стремлений и личного опыта тех, кто «становится, стал или собирается стать взрослым» [с. 303].

В последнее десятилетие наметились попытки найти точки пересечения психологического и социологического изучения феномена индивидуального жизненного пути. Так, Н. Эмлер предложил сделать акцент на изучении социальной идентичности как главного связующего звена между индивидом и обществом[1]. Опираясь на классическую концепцию Г. Тэджфела, Эмлер подчеркивает ключевую функцию меняющихся социальных отношений и связей в ходе жизненно важных транзитов личности. Близкой позиции придерживается и Дж. Хендрикс, тогда как Д. Даннефер считает реляционную концепцию трансформации жизненного цикла необоснованной[2]. По мнению Даннефера, в рамках этой концепции теряется собственно социологический аспект проблемы, поскольку для социологии, в отличие от психологии, важны не личностные последствия жизненных перипетий в тех или иных социальных обстоятельствах, а совокупный – коллективный и структурно-символический – их результат.

Стремление связать между собой индивидуальные жизненные события и масштабные социоисторические трансформации характерно для современных биографических и нарративных трендов, восходящих к традиции Томаса и Знанецкого. Однако дешифровка жизненных историй – это скорее метод сбора данных, чем способ их концептуализации и обобщения, подчеркивают авторы статьи. Альтернативную «точку соприкосновения социологии и психологии жизненного пути» предложили Ф. Ланг и его едино-

[1] Emler N. Life course transitions and social identity change // Advances in life course research. – Amsterdam, 2005. –Vol. 10. – P. 197–215.

[2] Hendricks J. Considering life course concepts // The journals of gerontology, Series B: Psychological sciences a. social sciences. – Oxford, 2012. – Vol. 67, N 2. – P. 226–231; Dannefer D. Enriching the tapestry: Expanding the scope of life course concepts // The journals of gerontology, Series B: Psychological sciences a. social sciences. – Oxford, 2012. – Vol. 67, N 2. – P. 221–225.

мышленники[1], защищающие принципы «межличностного функционирования и соразвития социальных индивидов» как одинаково важные для социологии, психологии и биологии жизненного пути. Гиллеард и Хиггс тем не менее полагают, что понятия «реляционная близость» и «мониторинговая реципрокность», сформулированные Лангом, являются скрытой реинсталляцией категорий «интимность» и «генеративность», посредством которых Э. Эриксон описывал реляционное содержание и социопсихологическую сверхзадачу двух последних стадий жизненного цикла. О конфликте двух парадигм в толковании жизненно важных транзитов индивида впервые заговорили американцы Д. Феерман и П. Лернер. В 1985 г. они описали непримиримое противостояние онто- и социогенеза как главных движущих сил формирования жизненного пути: одни исследователи (в основном психологи) связывали жизненные коллизии индивида с его биологической историей в качестве организма, другие – исключительно с историческими, социальными и институциональными трансформациями[2]. Феерман и Лернер предложили – как выход из тупика – дифференциацию двух групп переменных, детерминирующих жизненно важные транзиты личности: так называемые ранжированные характеристики (возрастной, социоисторической и событийной природы) и те, которые ранжированию не поддаются (глубоко личностные, случайные, судьбоносные биографические повороты). По мнению Гиллеарда и Хиггса, подобное разграничение (и прицельное изучение) становится практически невозможным в условиях прогрессирующей дестандартизации жизненных траекторий позднего модерна, когда происходит наложение индивидуальных и социально организованных изменений и сдвигов, сообщающих жизненному курсу свойство абсолютной неповторимости. Как считают многие социальные аналитики, в III тысячелетии коренному изменению подлежит само понятие «взрослость» в его классической социокультурной рецепции: нарастающая тенденция к бесконечно причудливому колеба-

[1] Lang F.R., Wagner J., Neyer F.J. Interpersonal functioning across the life span: Two principles of relationship regulation // Advances in life course research. – Amsterdam, 2009. –Vol. 14, N 1–2. – P. 40–51.

[2] Featherman D.L., Lerner R.M. Ontogenesis and sociogenesis: Problematics for theory and research about development and socialization across the life span // American sociological rev. – Thousand Oaks (CA), 1985. – Vol. 50, N 5. – P. 659–676.

нию маятника между юношескими и зрелыми жизненными ориентациями (по принципу игрушки йо-йо) делает все более размытым и неустойчивым определение взрослости [с. 303].

С учетом сказанного авторы считают своевременным обращение к концепции Э. Эриксона, в рамках которой становление личности понимается как непрерывный пожизненный процесс. Наиболее ценным в этой модели Гиллеард и Хиггс считают: а) эпигенетический принцип индивидуального развития, т.е. сохранение на следующих стадиях психосоциальных «достижений» каждого из восьми последовательных этапов жизненного цикла («добродетелей» в терминологии Эриксона), в содержательной кристаллизации которых участвуют все предшествующие элементы биологического и психосоциального созревания индивида; б) понятие идентичности как стержня зрелой личности, находящейся в состоянии подвижной гармонии со своим телом, душой и социальными обстоятельствами.

Согласно теории Эриксона, идентичность (ощущение своей соматической, психологической и социоисторической целостности) возникает в юности (пятая стадия жизненного цикла) как реконфигурация всех прежних идентификаций взрослеющего индивида и продолжает трансформироваться по мере его движения к состояниям взрослости, зрелости и старости. Именно нефиксированность личностной идентичности в ее трактовке Эриксоном – как качества, которое нельзя приобрести раз и навсегда вследствие психосоциальной пластичности, открытости изменениям и новым контекстуальным вызовам – позволяет использовать это понятие для концептуализации развития индивида на поздних этапах его жизненного пути как социально укорененного процесса. Подобная трактовка идентичности позволяет сделать этот феномен отправным пунктом альтернативного прочтения саморефлексивности как атрибута позднего модерна, резюмируют свои выводы авторы статьи.

Саморефлексивность и ассоциированная с ней индивидуализация жизненных стилей рассматриваются в классических работах З. Баумана, У. Бека и Э. Гидденса. Рефлексивность принято толковать как привнесенное постмодерном право, возможность и даже требование выбора человеком стиля и характера партнерских, дружеских, интимных и социальных отношений. Не оспаривая глобального социологического ви́дения этих атрибутов современно-

сти, Гиллеард и Хиггс тем не менее замечают, что «каноническая концептуализация проблем идентичности, интимности и межпоколенной солидарности в качестве главных компонентов нынешнего общества… оставляет без внимания индивидуальные жизненные траектории» [с. 309]. Процесс индивидуализации жизни трактуется исключительно как продукт социальных трансформаций, безотносительно к личностно значимым событиям, так что предметом анализа становятся те самые совокупные структурно-символические результаты, на которых настаивает Д. Даннефер.

Ключевая роль в индивидуализации опыта взросления и взрослости принадлежит рефлексивности. Согласно определению Э. Гидденса, рефлексивность – это способность, с помощью которой продуцируется и изменяется индивидуальная и социальная жизнь по мере того, как люди начинают реагировать на происходящее иначе, чем предписывает традиция [с. 310]. Иными словами, поясняют мысль Гидденса авторы статьи, рефлексивность бытия человека позднего модерна – это персонифицированная сторона социального процесса дестандартизации жизни. Другое, более «сфокусированное на индивиде» толкование рефлексивности предлагает Маргарет Арчер, которую Гиллеард и Хиггс аттестуют как восходящую звезду социологической науки [с. 310]. Для Арчер рефлексивность есть сугубо личностное свойство, хотя и возникающее по отношению к другим и к самому себе: рефлексивность формируется общественными институтами и системами, но им не принадлежит[1]. В данном случае рефлексивность как ментальная способность состоит в соотношении (связывании) своего Я с социальным контекстом и наоборот. Ее индикатором служит внутренний диалог – выработка суждений и решений применительно к своему Я, его намерениям и убеждениям, оценка ситуации, осмысление своих интересов, т.е. практика создания индивидуального «Я-проекта». Авторы усматривают сходство нарративной трактовки Я-проекта М. Арчер с повествовательным толкованием идентичности как аспекта развития взрослого индивида в поздних работах Э. Эриксона. Наступающая культура консьюмеризма и ответная индивидуализация выбора жизненных стилей делают рефлексив-

[1] Archer M.S. Structure, agency and the internal conversation. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003; Archer M.S. Making our way through the world: Human reflexivity and social mobility. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2007.

ность необходимым и почти неизбежным аспектом жизненного пути, подчеркивают авторы. Соответственно, идентичность и связанные с ней коллизии уже не ограничиваются хронологическими рамками юности: они превращаются в пожизненный процесс, обремененный постоянными личностными поисками и новыми социальными вызовами.

Идентичность и Я-проект – это не единственная параллель в концептуальном осмыслении жизненного пути Эриксоном и Арчер. В работах последней можно найти свидетельства расширения объема генеративности и интимности, которые в эпоху позднего модерна не укладываются в рамки зрелости и старости и становятся содержательными характеристиками четвертого возраста. Кроме того, Арчер предлагает категоризацию «габитусов рефлексивности», специфика которых также перекликается с идеями Эриксона. Так, «метарефлексивные индивиды» – это те, кто не сумел интериоризировать наличный социальный порядок и столкнулся с пожизненным кризисом идентичности. В свою очередь те, кто склонен к «коммуникативной рефлексии», следуют более или менее упорядоченному жизненному курсу, предложенному обществом.

Концептуализация жизненного пути, предложенная М. Арчер, пишут в заключение Гиллеард и Хиггс, открывает перед социологией новые перспективы, поскольку предлагает сугубо социологический способ осмысления личностных составляющих дестандартизации жизни в XXI столетии. Целесообразным представляется включение новых переменных в лонгитюдные исследования жизненных траекторий, которые сегодня ограничивается показателями здоровья, благосостояния и удовлетворенности жизнью. Назрела потребность в сравнительном социологическом анализе специфики индивидуальных жизненных траекторий в зависимости от степени дестандартизации / институциализации жизненных транзитов в разных общественных системах и культурах современности.

Е.В. Якимова

2017.01.013. ТЁРНЕР С.П. ДЕИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ПОЧТИ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ. TURNER S.P. De-intellectualizing American sociology: A history, of sorts // J. of sociology. – Thousand Oaks (CA), 2012. – Vol. 48, N 4. – P. 346–363.

Ключевые слова: американская социология; предмет социологии; общественная роль социологии; популяризация социологического знания.

Стивен Тёрнер (Университет Южной Флориды, г. Тампа, США) обращает внимание на некоторые значимые изменения, которые произошли с социологией с момента ее возникновения. Более подробно он рассматривает историю американской социологии. По мнению автора, зарождение социологии было тесным образом связано со спорами вокруг понимания «социального». Важным моментом является и то, что на ранних этапах своего становления дисциплина развивалась в рамках публичных дискуссий с участием широкой общественности. Также автор отмечает, что примерно до середины XX в. социологи задавали тон в общественном обсуждении таких вопросов, как природа общества, альтруизм и направления социальной эволюции. Однако начиная с 1960-х годов эти темы ушли на периферию академической социологии, а научные дискуссии стали ориентироваться на профессиональные требования и политические табу. Но общественный интерес к фундаментальным социальным проблемам оставался неизменно высоким. Именно с этим расхождением, по мнению С. Тёрнера, связана потеря социологией своей заинтересованной интеллектуальной публики.

Исследователи часто обвиняют друг друга в отсутствии понимания «социального», которое определяет предмет изучения социологии. Эта идея зафиксирована во всех специализированных учебниках, а ее корни, как отмечает автор статьи, берут начало в неокантианском подходе к пониманию науки. Для неокантианцев любая наука концептуально оформляется только на основе ее собственного предмета изучения. По мнению Гарри Викхема, на которого ссылается С. Тёрнер, то, что социологи перестали спорить о «социальном» или о предмете своего изучения, как это было в XIX в.,

привело к потере сформированной общественной аудитории[1]. Ситуация в современной американской социологии, полагает автор статьи, характеризуется победой подхода «публичной социологии» М. Буравого, согласно которому востребованность социологической теории связана только с общественным движением, интересы которого она защищает (например, феминизм). Однако в истории социологии есть другие примеры.

Популярность книги «Одинокая толпа»[2] Дэвида Рисмена, ставшей общепризнанным бестселлером, обусловливалась ее интеллектуальным содержанием, а не близостью к какому-то особому общественному движению. В начале 1950-х годов социология претендовала на решение универсальных проблем, полагает С. Тёрнер. Та же работа Д. Рисмена имела конкретную идейную направленность, связанную с критикой американского индивидуализма. К настоящему времени такие «большие» вопросы ушли на второй план в социологии и более не формируют ее публичное лицо. Но можно ли на этом основании, спрашивает С. Тёрнер, утверждать, что исчезла та интеллектуальная общественность, что присутствовала на заре развития социологии, и остались одни лишь специалисты, опирающиеся на структуру академической карьеры и публику с определенными политическими взглядами и специфическими личными интересами? Нет, нельзя, отвечает на собственный вопрос С. Тёрнер, и успех таких авторов, как Стивен Пинкер[3] и Джон Сёрл[4], служит подтверждением данного тезиса.

С. Тёрнер указывает, что исследователи привыкли воспринимать социологию с точки зрения «победителей» – Э. Дюркгейма и М. Вебера, которых принято считать основателями социологии, а

[1] Wickham G. The core object «society» and sociology's public relevance: History versus theory // J. of sociology. – Thousand Oaks (CA), 2012. – Vol. 48, N 4. – P. 427–442.

[2] Riesman D. The lonely crowd: A study of the changing American character. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1950.

[3] Стивен Пинкер (род. в 1954 г.) – канадско-американский исследователь в области эволюционной психологии, психолингвистики и когнитивных наук, популяризатор науки. – *Прим. реф.*

[4] Джон Сёрл (род. в 1932 г.) – американский философ, специализирующийся в области изучении речевых актов, когнитивных способностей и искусственного интеллекта. – *Прим. реф.*

не с точки зрения «проигравших» – Г. Спенсера, Л.Т. Хобхауса и Р. Вормса. Он отмечает, что перед тем как стать академической дисциплиной, социология долгое время развивалась как неакадемическая деятельность. Поэтому своим успехом академическая социология во многом обязана своим предшественникам, которые завоевали интерес широкой публики к зарождающейся научной дисциплине. Например, популярность Г. Спенсера, которого нельзя считать академическим ученым в общепринятом смысле, была основана на фундаментальности той темы, которую он изучал. Применение дарвинизма в социальной теории позволило ему поставить под сомнение религиозные догмы и спровоцировало общество на пересмотр ключевых политических идей того времени. Спенсер оказался одним из самых востребованных авторов; его книги, охватывающие весь спектр вопросов природной, социальной и этической эволюции, раскупались и читались по всему миру. Изданию, продвижению и популяризации работ Спенсера во Франции способствовал французский социолог и организатор науки Рене Вормс[1] (1869–1926), за счет усилий которого, в частности, были переведены и вышли в свет отдельные произведения П.А. Кропоткина и М.А. Бакунина. Именно благодаря такой деятельности, а не в результате создания кафедр и национальных профессиональных сообществ, отмечает С. Тёрнер, социология возникла как дисциплина – прежде всего, она была площадкой для обсуждения проблем фундаментальной природы общества [с. 350]. Однако Дюркгейм и его последователи критически относились к деятельности Р. Вормса, а также к любой области исследований, которая не соответствовала их пониманию социологии. В итоге именно дюркгеймовская традиция победила во французской академической науке, заложив основы стандартной модели социальных наук.

В американской социологии определенный водораздел произошел с приходом Т. Парсонса, который воспринял идеи неокантианцев относительно существования универсальной концептуаль-

[1] К наиболее важным научно-организационным достижениям Рене Вормса можно отнести основание «Международного социологического журнала» («Revue internationale de sociologie»), издательской серии «Международная социологическая библиотека» («Bibliothèque sociologique internationale»), учреждение Парижского социологического общества («Société de sociologie de Paris») и Международного института социологии («l'Institut international de sociologie»). – *Прим. реф.*

ной схемы в любой науке. Р. Мертон, будучи и конкурентом Парсонса, и его сподвижником, работал в рамках того же набора понятий, хотя и выработал несколько отличающиеся ориентиры для дисциплины. Он открыто критиковал подходы многих социологов прошлого, призывая ориентироваться на систематику и стратегию построения теории на основе логически структурированных утверждений с эмпирическим обоснованием. Все это, по мнению С. Тёрнера, приводило к исключению альтернативных идей и концепций из социологии.

С. Тёрнер указывает два наиболее ярких примера такого исключения. Первый эпизод связан с именем американского социолога Чарльза Элвуда (1873–1946), выпустившего в 1938 г. книгу «История социальной философии»[1], которая на протяжении десяти последующих лет переиздавалась 7 раз. В книге Элвуда анализируются идеи социальных мыслителей, начиная с Просвещения. В ней обсуждаются возможные направления реформирования общества и отмечается роль образования в социальном развитии. Но его подход полностью совпадает с тем типом теорий, которые критиковал Мертон, и поэтому в профессиональном социологическом сообществе книга Элвуда оказалась невостребованной.

Другой характерный пример – П.А. Сорокин (1889–1968). Когда Парсонс только начинал работать над своими изысканиями, Сорокин уже был одним из наиболее известных в мире социологов. Он опубликовал ряд книг, которые до сих пор можно считать самыми успешными работами, нацеленными на широкую общественность. Речь, в частности, идет о произведениях «Кризис нашего времени»[2] и «Человек и общество в условиях бедствий»[3]. Сорокин писал о глубоком кризисе чувственной социокультурной системы, итогом которого должен стать переход к новой идеалистической форме культуры. Хотя тема кризиса не сразу выпала из академического дискурса, совершенно очевидно, что идеи Сорокина не вписывались в профессиональные каноны американской социологии.

[1] Ellwood Ch.A. A history of social philosophy. – N.Y.: Prentice-Hall, 1938.

[2] Sorokin P.A. The crisis of our age: The social and cultural outlook. – N.Y.: Dutton, 1941.

[3] Sorokin P.A. Man and society in calamity: The effects of war, revolution, famine, pestilence upon human mind, behavior, social organization and cultural life. – N.Y.: Dutton, 1942.

Таким образом, в американской социологии возник своеобразный парадокс, когда из социологического мейнстрима исключались наиболее популярные и востребованные читательской аудиторией авторы, писавшие о фундаментальных проблемах общества.

В связи с этим С. Тёрнер призывает вернуть социологии «дух свободы», который был присущ ей прежде. Ведь социология, по его мнению, изначально была местом, в котором интеллектуалы обрели свободу. В американской социологии, считает С. Тёрнер, стали доминировать весьма примитивные цели, в рамках которых нет места высоким формам политического и нравственного просвещения. В заключение автор добавляет, что невнимание к фундаментальным вопросам, которые прежде были движущей силой социологии, приводит к игнорированию дисциплиной собственной истории, а значит, и к непониманию возможностей социологии как таковой.

А.Ю. Долгов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

2017.01.014. МОНТЕН Дж. ИНТЕРВЕНЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА ЯПОНИИ, ИРАКА И АФГАНИСТАНА.
MONTEN J. Intervention and state-building: Comparative lessons from Japan, Iraq and Afghanistan // The Annals of the American academy of political and social science. – Thousand Oaks (CA), 2014. – Vol. 656, N 1. – P. 173–191.

Ключевые слова: вооруженная интервенция; государственное строительство; продвижение демократии; политические институты.

К началу 2000-х годов последствия интернационализации внутренних вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане заставили международное научно-политическое сообщество задуматься, способно ли вмешательство извне помочь слабым и нестабильным государствам в успешном переходе к устойчивым демократиям. В настоящей статье Джонатан Монтен (Университет Оклахомы, г. Норман, США) пытается ответить на вышеозначенный вопрос, сравнив влияние американских вооруженных интервенций в сочетании с помощью извне на процессы государственного строительства в различных странах.

Изучение именно американского опыта применения военного вмешательства в качестве механизма создания прочных институтов в нестабильных государствах представляется плодотворным по следующим причинам. Во-первых, Соединенные Штаты прибегали к данной стратегии чаще, чем любое другое государство, за последнее столетие приняв участие в более чем двух десятках опера-

ций по смене режимов[1]. Во-вторых, американские вооруженные интервенции часто сопровождались масштабными программами помощи, нацеленными на реконструкцию экономики и политических институтов оккупированного государства.

Исходя из масштабов, силы и типа политического режима в целевых государствах, автор выделяет и последовательно анализирует три исторических кейса: Япония (начиная с 1945 г.) [с. 178–181], Афганистан (с 2001 г.) [с. 182–183] и Ирак (с 2003 г.) [с. 181–182].

Во всех трех случаях Соединенные Штаты использовали вооруженную интервенцию, оккупацию и реконструкцию в целях создания демократических и жизнеспособных в условиях отсутствия внешней поддержки государств, однако достигли совершенно противоположных результатов. В то время как оккупация Японии, констатирует Дж. Монтен, соглашаясь с оценкой американского стратегического исследовательского центра РЭНД, «задала стандарты постконфликтной трансформации, которой не было равных в истории», усилия официального Вашингтона по стабилизации ситуации в Ираке обернулись превращением последнего в «недееспособное государство» («instant failed state»)[2] [с. 174]. Статья содержит детальный критический обзор уже опубликованных работ, посвященных анализу причин подобного расхождения [с. 183–188].

Автор обозначает наличие четырех исследовательских подходов, различающихся в зависимости от того, влияние какого именно обстоятельства рассматривается в них в качестве определяющего: 1) степень вовлеченности страны-интервента (level of commitment by intervening state); 2) изначальные экономические, политические и социальные условия в целевом государстве;

[1] В период с 1900 по 2003 г. Соединенные Штаты участвовали в 28 кампаниях по смене режима извне. В большей части рассматриваемых эпизодов (15) Соединенные Штаты силой устраняли лидера правительства и ставили на его место другое лицо, но не пытались изменить или расширить политические институты государства. В отдельных случаях (13) США, смещая политического лидера, шли на изменение государственных институтов. См.: Downes A., Monten J. Forced to be free: Why foreign-imposed regime change rarely leads to democratization // International security. – Cambridge (MA), 2013. – Vol. 37, N 4. – P. 90–131.

[2] См.: Mueller J. The Iraq syndrome // Foreign affairs. – Tampa (FL), 2005. – Vol. 84, N 6. – P. 44–54.

3) стимулы, порождаемые международными программами помощи; 4) идеациональные факторы (ideational factors) [с. 184].

Степень вовлеченности определяется такими показателями, как продолжительность кампании и уровень инвестирования материальных ресурсов. Джеймс Доббинс, а также ряд других экспертов[1] утверждают, что «среди контролируемых факторов детерминирующим является уровень затрат (level of effort), измеряемый временем, живой силой и деньгами». П. Минксин, С. Амин и С. Гарз сходятся во мнении, что «бóльшая степень вовлеченности работает по принципу рычага, увеличивая потенциал для осуществления политики реконструкции»[2]. Однако автор статьи обращает внимание на несостоятельность доказательной базы данных исследований. Он подчеркивает, что Соединенные Штаты сохраняли свое присутствие на протяжении девяти лет в Ираке и более чем десяти – в Афганистане, однако достигли при этом весьма ограниченных и нивелирующихся (кейс Афганистана) результатов. В Японии, напротив, общая продолжительность американской оккупации составила семь лет, а большинство институциональных реформ было проведено в течение 1945–1948 гг. Объемы поддержки извне, по мнению автора, также не коррелируют с итогами процесса государственного строительства в вышеозначенных странах. Так, Соединенные Штаты оказали помощь Японии в размере 15,2 млрд долл.; Германии (период 1945–1952 гг.) – 29,3 млрд долл., что эквивалентно первым трем годам оккупации Ирака. Однако именно первые два случая рассматриваются академическим сообществом как примеры успешного демократического государственного строительства. В случае с Афганистаном 54 млрд долл. было потрачено только на обучение и снаряжение афганских военных и полицейских (Фонд сил безопасности Афганистана; ФСБА – Afghanistan security forces fund, ASFF). Тем не менее данные организации все еще зависят от США в ключевых материально-технических и военных аспектах [с. 184].

---

[1] America's role in nation-building: From Germany to Iraq / Dobbins J., McGinn J., Crane K., Jones S.G., Lal R., Rathmell R.A., Swanger M., Timilsina A. – Santa Monica (CA): RAND corporation, 2003.

[2] Minxin P., Amin S., Garz S. Building nations: The American experience // Nation building: Beyond Iraq and Afghanistan / Ed. by F. Fukuyama. – Baltimore (MD): Johns Hopkins univ. press, 2006. – P. 64–85.

Изначальные условия в целевом государстве (наличие предшествующего опыта демократического правления или строительства бюрократических государственных институтов). Согласно Дж. Браунли, «за последнее столетие результаты государственного строительства в значительной степени определялись историческими предпосылками общества-реципиента», и «уже имеющиеся бюрократические и парламентские институты целевого общества увеличивают потенциал политики реконструкции»[1]. Ф. Фукуяма подчеркивает, что довоенный административный потенциал Японии и Германии был перенесен в поствоенный период, что определило успех Соединенных Штатов[2] [с. 185].

Приверженцы сравнительной политологии утверждают, что отсутствие благоприятных внутренних предпосылок (таких как этническая гомогенность, хорошие темпы экономического развития) может стать существенным препятствием к созданию стабильных демократических институтов после завершения иностранной интервенции [с. 185]. Согласно Л. Даймонду, «теория о существовании тесной взаимосвязи между уровнем экономического развития страны и ее способностью стать демократией является крайне распространенной в общественных науках и наибольшей степени подкрепленной доказательствами»[3]. Другие исследователи отмечают трудность поддержания демократии в странах с глубокой социальной неоднородностью, включая этнические, языковые и религиозные различия[4]. Сам Дж. Монтен полагает, что государства с высоким уровнем дохода на душу населения и низким уровнем этнической раздробленности в большей степени приспособлены к переходу к демократии в результате иностранной интервенции[5].

---

[1] Brownlee J. Can America nation-build? // World politics. – Cambridge, 2007. – Vol. 59, N 2. – P. 339.

[2] Fukuyama F. State-building: Order and governance in the 21st century. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 2004. – P. 38.

[3] Diamond L. The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world. – N.Y.: Times books, 2008. – P. 95–96.

[4] См., в частности: Horowitz D. Democracy in divided societies // J. of democracy. – Baltimore (MD), 1993. – Vol. 4, N 4. – P. 18–38; Arend L. Democracy in plural societies: A comparative exploration. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1977.

[5] Downes A., Monten J. Forced to be free: Why foreign-imposed regime change rarely leads to democratization // International security. – Cambridge (MA), 2013. – Vol. 37, N 4. – P. 90–131.

Суммируя изученный историографический материал, Дж. Монтен формулирует общий тезис о том, что потенциал успешного государственного строительства стран определяется их прошлым [с. 185].

Помощь и стимулы. Сторонники данного подхода указывают, что поддержка извне может нивелировать внутренний потенциал страны: национальные лидеры могут утратить стимул инвестировать ресурсы в увеличение потенциала государства в тех областях, которые уже спонсируются международными акторами. Аналогичные трудности могут возникнуть при большей (чем у национальных лидеров) заинтересованности зарубежного интервента в достижении конкретных политических целей. В других случаях международная помощь фактически поддерживает и легитимизирует лидеров нефункциональных и слабых государств[1]. В социальном плане подобная динамика развития событий зачастую несет в себе определенный «моральный риск» (moral hazard): привыкшие к внешней поддержке государственные лидеры начинают вести себя все более безрассудно, полагая, что застрахованы от провала своими международными союзниками[2]. Как отметил Л. Даймонд в эфире Национального общественного радио в 2006 г.: «Различные иракские партии не несут моральной и политической ответственности за будущее своей страны… они знают, что 140 тысяч американских военных поддерживают безопасность в стране» [с. 187].

Идеациональные факторы. В рамках либерального подхода Б. Грин выделяет два типа лидеров[3]: 1) с «позитивным» отношением к свободе; 2) с «негативным» восприятием свободы, т.е. полагающих ключевым условием демократии наложение ограничений на влияние государства. Так, приводит пример Дж. Монтен, администрация Г. Трумэна идентифицировала себя с либеральной идеологией «Нового курса»[4], который инициировал масштабную экс-

[1] Jackson R., Rosberg C. Why Africa's weak states persist: The empirical and the juridical in statehood // World politics. – Cambridge, 1982. – Vol. 35, N 1. – P. 1–24.

[2] Byman D. Friends like these: Counterinsurgency and the war on terrorism // International security. – Cambridge (MA), 2006. – Vol. 31, N 2. – P. 79–115.

[3] Green B. Two concepts of liberty: U.S. Cold War grand strategies and the liberal tradition // International security. – Cambridge (MA), 2012. – Vol. 37, N 2. – P. 9–43.

[4] «Новый курс» («New Deal») – название экономической политики, проводимой администрацией Франклина Делано Рузвельта, начиная с 1933 г. с целью

пансию федерального правительства в экономику и социальную сферу[1].

«Новый курс» оказал влияние на ход американской демократизации Японии. На стадии планирования, реализации и продвижения демократических реформ должностные лица США стремились использовать государственное вмешательство. Ключевые посты в Главном командовании союзных войск (ГКСВ)[2] занимали люди, имевшие опыт работы в регулирующих органах при имплементации «Нового курса» (1930–1940-е годы). Уроки и институциональные решения «Нового курса» применялись ими в отношении Японии. Вместо демонтажа японской государственности оккупация сохранила ее и направила по пути социальных и экономических реформ, нацеленных на распределение национального дохода, расширение среднего класса и углубление социального плюрализма. Подобная политика создавала условия для устойчивой либеральной демократии в Японии, так как суверенитет был делегирован избранному правительству [с. 187].

В противоположность этому в современном консерватизме доминирует мнение о необходимости сокращения вмешательства и влияния федерального правительства Соединенных Штатов и отхода от концепции «государства всеобщего благосостояния». В своей внутренней политике консерваторы провозглашают сокращение государственного сектора, предлагают решения, генерируемые свободным рынком, для преодоления проблем государственной политики, отмечают непредсказуемость последствий и негативные аспекты крупных государственных программ. Как писал Ф. Фукуяма в 2004 г.: «Доминантной тенденцией в мировой политике последнего поколения была критика “большого прави-

выхода из масштабного экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США с 1929 по 1933 г. – *Прим. реф.*

[1] Hamby A. Liberalism and its challengers: FDR to Reagan. – N.Y: Oxford univ. press, 1985.

[2] Для преобразования Японии в стабильную либеральную демократию Соединенные Штаты учредили массивную оккупационную структуру – Главное командование союзных войск (ГКСВ) под началом генерала Дугласа Макартура. Программа ГКСВ включала в себя не только формирование новой конституции и организацию выборов, но и более широкий спектр институциональных и экономических реформ, направленных на создание условий для существования устойчивой либеральной демократии и плюралистического общества. – *Прим. реф.*

тельства" и попытка переместить весь функционал из государственного сектора в частный или передать его гражданскому обществу»[1]. Согласно Э. Флибберту, администрация Буша «была идеологически предрасположена к уничтожению государственной власти в Ираке»[2] [с. 188].

В заключение Дж. Монтен представляет обоснование практической ценности проведенного им исследования для углубления понимания проблематики государственного строительства с участием внешних акторов и резюмирует основные выводы статьи [с. 188–189].

Во-первых, по мнению автора, международным акторам проще сохранить существующую государственную систему, чем создать ее. Ключевым фактором, определившим успех японского кейса, было решение Соединенных Штатов сохранить бюрократическую базу японского государства, провести чистку лиц, связанных с довоенным националистическим движением, не растерять важные институциональные знания, а стимулировать государственную власть содействовать социальным и экономическим реформам. Многие исследователи считают, что повальная чистка среди иракских военных и баасистов существенно ослабила иракское государство. По мнению Дж. Монтена, проблема заключается в нахождении внешними интервентами баланса между привлечением к ответственности лиц за преступления или злоупотребления властью и сохранением их институциональных знаний и опыта, имеющих решающее значение для реализации потенциала государства.

Во-вторых, в то время как поддержка извне обеспечивает население общественными благами, она может препятствовать инвестициям в те институты, которые смогут предоставить эти блага в отсутствие иностранных игроков. Именно поэтому широкомасштабные программы помощи со стороны США, направленные, в том числе, на совершенствование системы государственной безопасности Ирака и Афганистана, пользовались ограниченным успехом в создании независимых национальных структур. Дж. Монтен видит задачу будущих исследований в установлении четкой струк-

[1] Fukuyama F. State-building: Order and governance in the 21st century. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 2004.

[2] Flibbert A. The consequences of forced state failure in Iraq // Political science quart. – N.Y., 2013. – Vol. 128, N 1. – P. 91.

туры программ помощи, призванной свести к минимуму вытеснение национальных инвесторов зарубежными и риски недобросовестного финансового поведения.

В-третьих, автор считает необходимым определить степень, в которой успех государственного строительства обусловлен действиями интервента или структурными условиями, неподконтрольными ему (такими как существующие экономические обстоятельства или политический опыт целевого государства). Если предположить, что данные структурные факторы определяют успех государственного строительства, то ни объем, ни форма, ни администрирование программ оказания помощи существенно не улучшат ситуацию, подытоживает Монтен.

К.К. Царев

2017.01.015. ЛАУНДС В., МАДЗИВА Р. КОГДА Я СМОТРЮ НА ЭТОТ ФУРГОН, ДЛЯ МЕНЯ ОН НЕ ПРОСТО ФУРГОН: СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ.
LOWNDES V., MADZIVA R. «When I look at this van, it's not only a van»: Symbolic objects in the policing of migration // Critical social policy. – L., 2016. – Vol. 36, N 4. – P. 1–21.

Ключевые слова: кампания «Go Home»; иммиграция; интерпретационный анализ политики; нелегальные иммигранты; социальное отчуждение.

На основе сравнительного анализа специфики восприятия британской кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией «Go Home Van» (GHV; англ. *go home* – возвращайтесь домой, *van* – фургон)[1] самими приезжими, местными жителями и представителями правозащитных организаций Вивьен Лаундс (Бирмингемский университет, Великобритания) и Рода Мадзива (Ноттингемский университет, Великобритания) определяют значимость символиче-

[1] Программа GHV – это совместный проект консерваторов и либерал-демократов, запущенный летом 2013 г. в рамках реформы миграционной политики и направленный на сокращение количества нелегальных иммигрантов в Великобритании. По улицам шести боро Лондона – Хаунслоу, Баркинг и Дагенем, Илинг, Барнет, Брент и Редбридж – ездили белые фургоны с огромными надписями: «Возвращайтесь домой, или будете арестованы» («Go home or face arrest»). Кампания продлилась с 22 по 28 июля 2013 г. – *Прим. реф.*

ских объектов иммиграционной политики, в том числе в контексте наблюдаемого сегодня глобального миграционного кризиса.

Отмечая отсутствие законодательно закрепленного определения понятия «нелегальные иммигранты», авторы констатируют, что данный термин к настоящему времени приобрел всеохватывающий характер. В Великобритании он используется для обозначения гетерогенной группы, включающей в себя: не имеющих права легального пребывания в Соединенном Королевстве, превысивших срок пребывания в стране или нарушивших визовые условия, а также тех, кому было отказано в предоставлении убежища [с. 3]. В британском общественно-политическом дискурсе нелегальные мигранты воспринимаются в качестве угрозы национальному единству, как лица, злоупотребляющие государственными услугами.

С целью решения проблемы так называемых «фиктивных лиц, ищущих убежище» и «нелегальных иммигрантов», Министерство внутренних дел запустило кампанию «Возвращайтесь домой» («Go Home», GH) в качестве PR-стратегии, призванной содействовать добровольному выезду приезжих из страны [с. 3].

В контексте анализа кампании GH авторы обращаются к теории интерпретационизма. С точки зрения «интерпретационного анализа политики» (ИАП), утверждают В. Лаундс и Р. Мадзива, необходимо рассматривать не только «что» означает то или иное явление, но и «как» выражается это его значение. ИАП исследует процессы «предметного взаимодействия» («artefactual interaction»), т.е. изучает, через какие символы передаются смыслы. Они могут быть выражены как в физической форме, так и в более традиционной лингвистической (законы, политические заявления, указания, правила и т.д.) [с. 4–5].

Рассматривая фургоны, курсировавшие по Лондону в рамках GH, как предмет политики в форме символического объекта, В. Лаундс и Р. Мадзива предлагают собственную интерпретацию размещавшихся на них рисунков и лозунгов с тем, чтобы выяснить роль последних в процессе выстраивания предметно-символической связи.

В статье оценивается влияние программы GH на иммигрантов, отказавшихся от столь недвусмысленного «предложения». Авторы рассматривают GHV как часть «миграционного регулирования» с привлечением модели социального контроля, связанного с

государственным управлением. Эмпирическую базу соответствующего раздела исследования составили интервью с приезжими. В. Лаундс и Р. Мадзива выделили три проблемных блока, требующих детального анализа: 1) определение функций, выполняемых Фургоном; 2) выявление специфики работы Фургона и особенностей донесения им своего месседжа; 3) оценка вероятности генерации альтернативных значений и смыслов [с. 6].

Отвечая на первый вопрос, связанный с назначением Фургона, В. Лаундс и Р. Мадзива пишут, что сами мигранты воспринимают GHV как символ исключения и бессилия. Фургон, играющий важную роль в маркировке определенных когорт населения как нарушителей требований системы, способствует развитию чувства социальной изоляции [с. 7].

В статье приводятся признания респондентов-мигрантов, отмечающих, что Фургон вызывает у них чувство тревоги, ощущение вины за якобы совершенное преступление и страх быть задержанными. В. Лаундс и Р. Мадзива ссылаются на исследователей А. Петерсон и М. Акерстрём, которые пишут о том, что фургон становится предметом «широко распространенных форм коллективного отчуждения» [с. 7][1].

Описывая позицию правозащитных организаций, авторы отмечают, что для НПО ключевым мотивом развертывания кампании GH стало стремление к установлению границ гражданской принадлежности.

Во второй части статьи авторы определяют основные смыслы, транслируемые кампанией GH, и характер влияния такого рода идей на различные группы населения.

Утверждается, что Фургон как таковой играет очень важную роль в личном жизненном опыте мигрантов. Например, они могли прибыть в Великобританию или же выехать за пределы своей страны, используя фургоны. Кроме того, любого задержанного перевозят в фургоне, миграционные рейды и депортация неизбежно связаны с принудительным заталкиванием в фургон. Следовательно, Фургон символизирует мощь государства, он задействован в осуществлении контроля над мигрантами, в том числе связанного с

[1] Peterson A., Åkerström M. Policing ethnicity: Between the rhetoric of inclusion and the policies and practices of exclusion // Social inclusion. – Lisbon, 2014. – Vol. 2, N 3. – P. 1–4.

применением насилия. При этом воздействие на сознание иммигрантов и трансляция смыслов осуществляются через визуальное повествование (изображения на кузове) или же через ассоциацию с автомобилями, используемыми в полицейских рейдах и при депортации. Тот факт, что на мигрантов ориентируются, в первую очередь, невербальные объекты политики объясняется двумя причинами.

Во-первых, такого рода объекты могут быть более эффективными из-за ограниченного знания английского языка приезжими. Авторы приводят слова некой Рейчел, работника службы поддержки мигрантов: «Если английский не является Вашим родным языком, то изображение может быть первым, что Вы действительно примите во внимание» [с. 10].

Во-вторых, невербальные объекты политики напрямую обращаются к опыту психологической травмы, общему для многих мигрантов. Фургон провоцирует на «возвращение памяти» и «запуск» конкретных видов деятельности, работая на уровне подсознательных смыслов.

В качестве иллюстрации данного тезиса авторы приводит слова двух респондентов, которым было отказано в предоставлении убежища. «Для людей, подобных нам, – отмечает первая интервьюируемая – Мария, – Фургон говорит на определенном языке, мы видим то, что скрыто от других». «Когда я увидел изображения, эти угрозы фактически вернули чувства, которые я испытал в 2002 г. <...> полиция стучится в Вашу дверь, и если Вы не откроете, они вламываются в Ваш дом <...> Фургон принес неприятные воспоминания, старые и несчастливые воспоминания», – с горечью констатирует второй участник исследовательского опроса, Просперо [с. 14].

Определив смыслы, доносимые Фургоном, авторы переходят к рассмотрению возможности возникновения альтернативных смыслов. В. Лаундс и Р. Мадзива возвращаются к ИАП с заложенным в нем отрицанием возможности существования однонаправленной политики. Отстаивая этот тезис, авторы следуют в логике Джанет Ньюман[1], отмечая внутреннюю нестабильность дискуссионных

[1] Newman J. Remaking governance: Peoples, politics and the public sphere. – Bristol: Policy press, 2005.

стратегий управления (вроде образования миграционной полиции) [с. 14].

В рамках нарратива кампании GH мигранты рисовались страшными и злыми. Сопротивляясь этим навязываемым смыслам, приезжие могли выбрать два пути: уйти от GHV (они буквально пытались избежать встреч с Фургоном) или попасть в фокус внимания акции [с. 14]. Но правозащитные организации попытались предложить третий путь. Они выразили возмущение в связи с тем, что Фургон извращает основные британские ценности. «Этот [Фургон] – цитируют авторы слова одного из менеджеров общественной организации по работе с мигрантами, – заставляет усомниться в наших идеалах и гостеприимстве <...> Сама идея Фургона идет вразрез с демократическими ценностями, которыми мы чрезвычайно гордимся как нация» [с. 15].

По мнению респондентов, Фургон давит на людей, вынуждая их выбрать один из двух (в одинаковой степени непривлекательных) вариантов выхода из создавшейся ситуации. Но правозащитные организации, отмечают авторы, предлагают нелегалам новую опцию – «прийти в центр и взаимодействовать друг с другом в дружественной обстановке и найти пути выхода из положения, если ранее им было отказано в предоставлении убежища» [с. 15].

В. Лаундс и Р. Мадзива констатируют, что кампания GH была воспринята экспертами как неуместная и неудачная попытка Министерства внутренних дел решить проблему нелегальных мигрантов. Подчеркивая несоответствие действий властей реалиям современного британского общества, авторы приводят высказывание одного из работников службы поддержки переселенцев, которая после кампании GHV отказалась от консультаций и сотрудничества с Министерством внутренних дел: «Мы все равно не работаем с Министром внутренних дел <...> мы существуем для наших клиентов, наши клиенты – нелегальные мигранты, просители убежища и беженцы. Мы думаем, что у нас достаточно власти и влияния, чтобы постоять за людей, которых мы представляем» [с. 16].

В заключение авторы приходят к выводу, что в вопросе регулирования миграции следует уделять бóльшее внимание изучению влияния невербальной политики. Детальный анализ реакции различных социальных групп на инициативу GHV подтвердил, что

современная миграционная политика носит многоуровневый характер и является пространством символического противостояния множества разнообразных акторов. Мигранты не являются пассивными жертвами государственных структур принимающей стороны. Несмотря на страх и гнев, вызванный лозунгами GH, среди приезжих были те, кто смог критически проанализировать смыслы, транслируемые кампанией, и поставить вопрос, почему фургон был, в сущности, «не только фургоном», как выразился один из респондентов [с. 18]. В то же время местные организации по поддержке мигрантов активно отвергли очевидные негативные смыслы, транслируемые Фургоном, и обрушились на инициаторов кампании с резкой критикой. GH стала своеобразной лакмусовой бумажкой, выявившей принципиальные расхождения в понимании базовых ценностей британского общества различными слоями населения Соединенного Королевства. Все эти обстоятельства, по мнению авторов, говорят о значительном потенциале интерпретационного анализа политики – концепции, доказывающей невозможность одновариантного толкования смыслов, – как возможной теоретической рамки при изучении символических объектов.

Д.Ю. Безгина

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

2017.01.016. ДЖАСПЕР Дж.М., ОУЭНС Л. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ЭМОЦИИ.
JASPER J.M., OWENS L. Social movements and emotions // Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2014. – Vol. 2. – P. 529–548.

Ключевые слова: эмоции; политические эмоции; моральные эмоции; коллективные действия; социальные движения; социальные протесты; мобилизация; лидерство; моральный шок.

Авторы главы из новой хрестоматии по социологии эмоций Джеймс Джаспер (Городской университет Нью-Йорка, США) и Линн Оуэнс (Миддлбери-колледж, г. Миддлбери, США) ставят себе целью описать исследования эмоциональных аспектов социальных движений в современной социологии, которые стали активно развиваться в последние десятилетия и которые дополняют изучение социально-структурных и культурных факторов социальных движений и социально-протестного поведения.

Ранее в социологии социальных движений эмоции практически не рассматривались, индивиды представали как рационально действующие, имеющие политические и экономические интересы акторы. «Культурный поворот» в социальных науках также не повлиял на повышение у социологов интереса к эмоциям в этой области – преобладали в основном когнитивистские модели и дефиниции ключевых социальных механизмов движений; специалисты анализировали роль идеологических аспектов и коллективной идентичности, а эмоциональные аспекты исключались как иррациональные.

С точки зрения авторов, именно изучение женских движений, движений ЛГБТ и феминистские исследования сфокусировали

внимание социологов на роли эмоций. Предметом научного анализа стали гнев, негодование, возмущение[1], а также эмоциональные культуры движений[2]. На сегодняшний день уже можно констатировать формирование целого корпуса исследований эмоциональности в социальных движениях[3], однако все еще остаются нерешенными крайне значимые в раскрытии данной проблематики задачи. Во-первых, необходимо преодолеть дилемму рационального / иррационального в контексте анализа социальных движений, поскольку эмоции тесно связаны с когнитивными и рациональными аспектами коллективных и индивидуальных действий. Во-вторых, эмоции определяются сегодня на основе одновременно и научной терминологии, и обыденного языка, поэтому необходимо фиксировать имеющий место процесс смешения этих понятий и вырабатывать новые научные термины для обозначения широкого круга чувств и переживаний, которые остаются не проясненными [с. 530].

Далее авторы рассматривают различные процессы в рамках социальных движений и их эмоциональные аспекты, которые в настоящее время попали в фокус внимания социологов. Первым они анализируют рекрутирование (recruitment) и мобилизацию движения – процесс обращения наблюдателей в участников движения, где обычно задействованы такие эмоциональные состояния, как доверие и приверженность / преданность, а также эмоции страха и тревоги. В процессе мобилизации социальных движений конструируются угрозы, которые запускают тревогу, разрушающую повседневные привычки и ожидания[4]. Выработка нового определения ситуации в социальных движениях, согласно авторам, является как когнитивным, так и глубоко эмоциональным процессом. Мораль-

[1] Luker K. Abortion and the politics of motherhood. – Berkeley: Univ. of California press, 1984; Hercus C. Identity, emotion and feminist collective action // Gender a. society. – Thousand Oaks (CA), 1999. – Vol. 13, N 1. – P. 34–55.

[2] См., например: Gould D. Moving politics. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2009.

[3] Goodwin J., Jasper J.M. Emotions and social movements // Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 611–635.

[4] Marcus G., Neuman W.R., MacKuen M. Affective intelligence and political judgment. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2000.

ный шок (или последовательность шоковых состояний) повергает людей в эмоционально-когнитивный диссонанс и делает их более склонными к участию в политических действиях. Концепция «морального шока» была разработана Дж. Джаспером, который определяет его как неожиданное событие (получение информации), морально оскорбляющее человека или группу людей и тем самым побуждающее к политическому действию[1]. Мотивация к протестному поведению, порождаемая моральным шоком, имеет моральные, рациональные и эмоциональные измерения (прежде всего, гнев, негодование, тревогу). Моральный шок играет большое значение в возникновении социальных движений различного характера – к примеру, движений за права животных, антирасистских движений, движений за мир[2]. Моральный шок требует коллективной работы (взаимодействия, обсуждения, фокусировки на символах) для значимого определения ситуации и использования эмоций. Т. Шефф показал, что моральный шок зависит от удивления, эмоциональной «настройки» на других и признания скрытых эмоций (это может быть горе, стыд или чувство вины)[3]. Моральный шок может быть и частью коллективных действий, а не только результатом отдельных ситуаций; он не меняет ценностей, но активирует и проясняет их. Таким образом, теория морального шока привлекла внимание исследователей к эмоциональным измерениям коллективных действий [с. 531].

Далее авторы обсуждают социальные связи и солидарность между участниками движений, идентификацию с социальным движением и эмоции, влияющие на эти процессы. Групповая идентификация обусловливает аффективную приверженность группе (даже после того как группа распалась), при этом разделяемые

[1] Jasper J.M. The art of moral protest. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1997.

[2] Jasper J.M., Poulsen J. Fighting back: Vulnerabilities, blunders and countermobilization by the targets in three animal rights campaigns // Sociological forum. – N.Y., 1993. – Vol. 8, N 4. – P. 639–657; Nepstad S. Convictions of the soul. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004; Warren M. Fire in the heart. – Oxford: Oxford univ. press, 2010.

[3] Scheff T. Mobilization and silence: Emotional / relational dynamics: Working paper. – Santa Barbara: Univ. of California, 2006. – Mode of access: http://www.soc.ucsb.edu/faculty/scheff/main.php?id=44.html [Accessed: 16.10.2016.]

негативные эмоции могут иногда усиливать позитивные взаимные эмоции: «Даже опыт страха и тревоги… порождает чувство коллектива и вовлекает в коллективные действия»[1]. Мифы, возбуждающие позитивные чувства национальной или этнической принадлежности, одновременно могут порождать сильную ненависть к другим нациям и этническим группам, сплачивая группы так же сильно, как любовь и привязанность[2].

Межличностные связи могут привлекать людей и удерживать их в социальных движениях, но также могут вытолкнуть их из них. Напряжение между чувствами к семье, например, и чувствами к коллективу сказывается на моральных обязательствах и часто может приводить к уходу из социального движения[3]. Зачастую в основе преданности большой группе лежит преданность подгруппам – к примеру, солдаты скорее преданы своему боевому отряду, а не армии, но многие протестные группы не могут интегрировать новичков как раз по причине сильной сплоченности и неприязни к чужакам[4] [с. 532].

В следующей части главы авторы обсуждают ритуалы в рамках социальных движений и другие внутренние процессы, которые связаны с эмоциями. Р. Коллинз рассматривает эмоциональную энергию, возникающую в ритуальном поведении в рамках социальных движений: взаимная синхронизация действий в коллективном поведении усиливает позитивную эмоциональную энергию и направляет ее на поддержание культурных символов движения[5].

---

[1] Eyerman R. How social movements move: Emotions and social movements // Emotions a. social movements / Ed. by H. Flam, D. King. – N.Y.: Routledge, 2005. – P. 43.

[2] Kaufman S. Modern hatreds. – N.Y.: Cornell univ. press, 2001; Petersen R. Understanding ethnic violence. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2002.

[3] Goodwin J. The libidinal constitution of a high-risk social movement: Affectual ties and solidarity in the Huk Rebellion, 1946 to 1954 // American sociological rev. – Thousand Oaks (CA), 1997. – Vol. 62, N 1. – P. 53–69.

[4] Jasper J.M. A strategic approach to collective action: Looking for agency in social-movement choices // Mobilization. – San Diego (CA), 2004. – Vol. 9, N 1. – P. 13; Polletta F. Freedom is an endless meeting. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2002. – P. 85.

[5] Collins R. Social movements and the focus of emotional attention // Passionate politics: Emotions and social movements / Ed. by J. Goodwin, J.M. Jasper, F. Polletta. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2001. – P. 27–39.

Следствием ритуалов могут быть и другие эмоции; к примеру, моральный гнев и заражение им ведут к решительным коллективным действиям[1]. Таким образом, ритуалы способствуют солидарности групп, враждебности к противниками и восхвалению идей и символов движения, что само по себе мобилизует индивидов к участию в них. С точки зрения авторов, современной социологии не хватает понимания связи между базовыми эмоциями, эмоциональными настроениями и формируемой при их участии приверженностью социальному движению. Также неполной выглядит концептуализация различий между видами эмоциональной энергии, зарождающейся в ритуалах. Хотя в некоторых работах уже была затронута роль пения песен, чтения стихов, музыки и специальных перформансов, которые усиливают эмоциональную приверженность движению[2].

Участие в социальных движениях имеет и эмоционально-негативную сторону – фрустрацию, усталость, эмоциональное выгорание и разочарование, которые могут возникать из-за нереалистических ожиданий или неуспешных действий[3]. Однако при этом существуют группы активистов, которые продолжают свое участие в движениях на протяжении всей жизни. Движение Национальная партия женщин (National Woman's Party, NWP) сохранялось посредством приверженности, эксклюзивности, централизации и внутренней культуры, где эмоции играли ключевую роль: «Личные связи любви и дружбы среди членов движения были культурным идеалом движения»[4] [с. 534–535].

Далее авторы рассматривают эмоциональные аспекты лидерства в социальных движениях, поскольку большая часть деятельности организуется ключевыми фигурами, которые попадают в фокус общего внимания и могут направлять эмоциональную энергию

[1] Fillieule O., Péchu C. Lutter ensemble: Les theories de l'action collective. – P.: L'Harmattan, 1993.

[2] Danaher W., Roscigno V. Cultural production, media and meaning: Hillbilly music and the Southern textile mills // Poetics. – The Hague, 2004. – Vol. 32, N 1. – P. 51–71; Traïni C. La musique en colère. – P.: Presses de Sciences Po, 2008.

[3] Hirschman A. Shifting involvements. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 1982. – P. 120.

[4] Taylor V. Social movement continuity: The women's movement in abeyance // American sociological rev. – Thousand Oaks (CA), 1989. – Vol. 54, N 5. – P. 769.

участников, к примеру, не допустить паники или страха, парализующего действия. Организаторы или лидеры используют различные механизмы (encouragement mechanisms) для управления, прежде всего, страхами и другими эмоциями – например массовые собрания, апелляцию к божественной поддержке, пристыживание (shaming) и др.[1] Авторитарные группы складываются в рамках движения высокой степени сплоченности на основе догматизма и глубокой идентификации с группой (единственной). Применительно к этому случаю любые эмоции только усиливают сплоченность – члены могут любить и одновременно бояться своих лидеров[2]. Однако большинство движений основывается на более мягкой эмоциональной приверженности.

Следующий сюжет, который анализируют авторы, это взаимодействие социальных движений, в частности их лидеров, с внешними аудиториями, в процессе презентации и позиционирования своего движения. Успешные движения, по словам авторов, успешны в управлении эмоциями аудитории в своих целях. Например, активисты движения за права животных использовали спикеров-мужчин в женских аудиториях, чтобы легитимировать, рационализировать и профессионализировать свои идеи и цели. Здесь снижалась общая эмоциональность за счет управления эмоциями на основе гендерных стереотипов[3]. Управление эмоциями задействуется для переубеждения аудитории (й) движения – сторонников, оппонентов, наблюдателей. В данном случае роль эмоций является двоякой, но все равно способствует коллективным действиям: индивиды либо поддаются воздействию, к примеру, угроз, либо направляют усилия на подавление страха перед угрозами. Дж. Джаспер описывает это как «найс-дилемму» («nice dilemma»): представители движения могут поставить задачу «нравиться» публике или, наоборот, быть настойчивыми и даже агрес-

[1] Goodwin J., Pfaff S. Emotion work in high-risk social movements: Managing fear in the U.S. and East German civil rights movements // Passionate politics: Emotions and social movements / Ed. by J. Goodwin, J.M. Jasper, F. Polletta. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2001. – P. 282–302.

[2] Lalich J. Bounded choice. – Berkeley: Univ. of California press, 2004. – P. 255.

[3] Groves J.M. Hearts and minds. – Philadelphia (PA): Temple univ. press, 1997.

сивными[1]. Однако обычно контроль над эмоциями означает улучшение имиджа протестующих: рабочие, женские и другие движения, представляющие маргинальные группы, взяли на вооружение эту тактику, в качестве способа продемонстрировать, что они достаточно рациональны для участия в политике. Управление эмоциями используется для отстаивания своих верований и для убеждения других в своей позиции – к примеру, активисты движения против совращения детей, которые по большей части сами являются жертвами, демонстрируют и горе, и стыд, и гнев, и гордость для легитимации своей истории, своих требований и преодоления состояния жертвы. Эта стратегия оказывается эффективной, поскольку хорошо раскрывает основные ценности движения – гендерного равенства, справедливости наказания, сострадания[2] [с. 536].

Современные коммуникации дают возможность воздействовать на эмоции сторонников, противников, авторитетов, наблюдателей одновременно. Это может вести к различным последствиям, поскольку довольно трудно стратегически взаимодействовать сразу с несколькими разными аудиториями. Однако эмоции могут служить подручным средством снижения этих трудностей. Д. Гулд описывает, как эмоция гордости на протяжении значительного времени мотивирует разные формы протеста, даже в рамках того же самого движения[3]. Вообще, как считают авторы, эмоция гордости была «открыта» исследователями социальных движений и стала частью изучения военизированных протестов, волонтерских движений, коммеморативных коллективных действий и практик лоббирования. Культивирование гордости обусловливает коллективное действие, однако не определяет его специфику, ведь, по замечанию авторов, все чувства, которые подразумеваются под словом «гордость», еще пока ясно не определены [с. 537].

На примере чувства гордости авторы далее показывают взаимодействие внутренних и внешних планов деятельности социальных движений. Гордость является эмоциональной реакцией на признание со стороны других людей и действует в двух контекстах

---

[1] Jasper J.M. Getting your way. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2006. – P. 106.

[2] Whittier N. The politics of child sexual abuse. – Oxford: Oxford univ. press, 2009.

[3] Gould D. Moving politics. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2009.

взаимодействия: внутри самой группы и во взаимодействии группы с другими группами. Динамика гордости и стыда, эмоций, которые называют «моральными батареями» действия[1], является одним из главных аспектов политической деятельности. Эти эмоции, как правило, канализируются различными способами с целью избежать серьезных последствий для социального порядка, поскольку, к примеру, непризнанный или подавляемый стыд «ведет прямо к гневу, нанесению оскорбления, агрессии»[2] на индивидуальном, групповом и национальном уровнях. Так называемая «спираль стыда-гнева» может выйти из-под контроля, привести к действиям из мести, и это часто используется организаторами движений. При дефиците чувств гордости, достоинства, самоуважения возникает гнев, возмущение, ведущие к мобилизации коллективного действия. Часто переход от стыда к гневу среди активистов движений происходит путем проецирования стыда на другие, как правило, непривилегированные или оппозиционные группы[3], что в свою очередь ведет к эскалации противостояния и конфликтам. Иногда культивирование гордости является частью деятельности движения для удовлетворения потребностей своих участников. Например, некоторые женские движения были сосредоточены на самопомощи самим женщинам – участницам движения[4].

Пример гордости, согласно авторам, демонстрирует, что зачастую эмоции размывают различие между целями и средствами политического действия, хотя по преимуществу оно является рациональным. Конечные цели могут быть достаточными для того, чтобы вдохновить некоторых людей к участию, но они редко достаточны для продолжения участия, тогда как средства могут возбуждать позитивные эмоции от участия. С точки зрения авторов, взаимодействия между целями и средствами в социальных движениях может прояснить анализ эмоций. К примеру, мобилизация движения иногда осуществляется на основе изменения эмоциональных норм, что само по себе может быть и целью, и средством,

[1] Jasper J.M. Emotions and social movements: Twenty years of theory and research // Annual rev. of sociology. – Palo Alto (CA), 2011. – Vol. 37. – P. 285–303.

[2] Scheff T. Bloody revenge. – Boulder (CO): Westview, 1994. – P. 5.

[3] Stein A. The stranger next door. – Boston (MA): Beacon, 2001.

[4] Whittier N. The politics of child sexual abuse. – Oxford: Oxford univ. press, 2009.

как, например, в женских движениях за равноправие. Помимо этого, на цели и средства влияют фоновые эмоциональные настроения – доверие или, наоборот, разочарование, в случае успеха или неуспеха в достижении целей. Позитивная эмоциональная энергия порождается в одном взаимодействии и дает людям уверенность, которую они могут перенести в следующие взаимодействия. Это помогает объяснить, почему движения нацелены на достижение небольших побед. Хотя при этом чувства тревоги, страха и неуверенности в определенные моменты также важны для достижения целей. Подобно этому коллективная идентификация может быть и целью, и средством и усиливаться чувствами доверия и гордости [с. 538].

Далее авторы рассуждают о роли физического пространства для коллективного политического действия в связи с эмоциональными переживаниями, которые возникают в зависимости от места действия. Прежде всего, место транслирует эмоционально нагруженные культурные значения. Активисты намеренно выстраивают пространства и тем самым формируют «географию эмоций», основываясь на существующих эмоциональных связях с местом. Эти эмоциональные связи могут производить разнообразные последствия – к примеру, заставить задуматься о защите окружающей среды, если таковы цели движения[1]. Активисты иногда основываются на эмоциональных связях с местом, созданных другим движением, чтобы вызвать те или иные настроения. Помимо этого, необходима значительная работа по созданию солидарности в определенных географических районах: коренные жители – участники движения будут испытывать иную эмоциональную связь с местом, нежели некоренные жители, что может создавать препятствия для формирования связей с некоренными жителями[2]. Также место структурирует деятельность движений, т.е. является стратегической ареной. Например, выборы подразумевают участие СМИ, судебные помещения – особые декорации, городские площади – пространство для

[1] Cass N., Walker G. Emotion and rationality: The characterization and evaluation of opposition to renewable energy projects // Emotion, space a. society. – Amsterdam, 2009. – Vol. 2, N 1. – P. 62–69.

[2] Barker A., Pickerill J. Radicalizing relationships to and through shared geographies: Why anarchists need to understand indigenous connections to land and place // Antipode. – Oxford, 2012. – Vol. 44, N 5. – P. 1705–1725.

размещения временного лагеря протестующих, и все места содержат символы, направляющие чувства, мысли и действия участников.

Свободные пространства – особые условия с такими физическими характеристиками, которые позволяют движениям выстраивать внутреннюю солидарность путем осуществления эмоциональной работы – культивирования порождаемых местом эмоций и исключение других эмоциональных переживаний[1], хотя этот процесс имеет противоречивые последствия. Например, чувство защищенности в определенном месте может ослабить мотивацию к коллективному действию и препятствовать ему: разговоры у огня в «Оккупай-лагерях» формировали эмоциональные связи между активистами, но также ослабляли их бдительность и создавали для полиции возможности вмешиваться в деятельность протеста[2]. Место коллективного действия чрезвычайно важно, поскольку влияет на эмоциональный спад или заражение, когда отдельные эмоции разрастаются до глобальных [с. 539–540].

Джаспер и Оуэнс подчеркивают, что необходимо рассматривать не только то, как эмоции влияют на социальные движения, но и как последние влияют на эмоции, ведь изменение эмоциональных норм может существенным образом повлиять на правовую сферу общества. Некоторые движения воздействуют на эмоции, связанные с телесными нуждами – с репродуктивным поведением, питанием и др. Движение против курения, по замечанию авторов, имело целью ограничить курение и вызвать отвращение и страх курения. Социальные движения имеют дело и с другими зависимостями, осуществляя работу по трансформации законного статуса, культурных дефиниций и морального значения последних, а также связанных с ними эмоциональных норм.

Социальные движения, как уже было сказано выше, «работают» с базовыми эмоциями – гневом, страхом, радостью, печалью, отвращением и удивлением. Авторы отмечают: мы живем в эпоху менее агрессивных протестов вследствие того, что Н. Элиас назы-

[1] Brown G., Pickerill J. Spaces for emotions in the spaces of activism // Emotion, space a. society. – Amsterdam, 2009. – Vol. 2, N 1. – P. 24–35.

[2] Feigenbaum A., McCurdy P., Frenzel F. Towards a method for studying affect in (micro) politics: The campfire chats project and the Occupy movement // Parallax. – Abingdon, 2013. – Vol. 19, N 2. – P. 21–37.

вает «цивилизационным процессом»[1], в результате которого непривилегированные группы в соответствии с эмоциональными нормами не могут свободно выражать гнев. Но право продемонстрировать гнев становится целью и средством подтверждения прав и статуса, когда угнетаемые группы мобилизуются в социальные движения. Способность чувствовать и выражать эмоции, связанные с политической деятельностью – гнев, негодование, гордость и др. – представляет собой «эмоциональное освобождение» наряду с другими видами эмансипации[2]. Другой базовой эмоцией, которая часто эксплуатируется в контексте социальных движений, является отвращение. Доминирующие в обществе группы часто культивируют отвращение к низкостатусным группам[3]. К примеру, иммигранты, представители рабочего класса репрезентируются как «грязные», «потные», «пахнущие». Многие освободительные движения ставили себе целью преодолеть источники отвращения к представителям низших классов.

Социальные движения также влияют на более продолжительные эмоциональные состояния, которые уже существуют, но поддерживаются и усиливаются социальными движениями. Например, религиозно-консервативные движения укрепляют семейные связи, националистические – патриотизм, движения профессионалов – профессионализм и т.д. В целом в рамках социальных движений создаются и укрепляются не только сильные коллективные идентичности, но и сильные моральные чувства. Деятельность социальных движений оказывает влияние именно на моральные чувства – стыд, гордость, чувство справедливости, сочувствие. Как утверждают авторы, социальные движения стремятся устранить стигматизированную идентичность, но вынуждены ее же акцентировать для обретения чувства гордости и управления чувством стыда в публичной сфере общества (например, это касается движений, выступающих в защиту жертв сексуального домогательства)[4]. Многие

[1] Elias N. The civilizing process. – N.Y.: Urizen books, 1978.

[2] Flam H. Emotions' map: A research agenda // Emotions a. social movements / Ed. by H. Flam, D. King. – N.Y.: Routledge, 2005. – P. 19–40.

[3] Nussbaum M. Hiding from humanity. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 2004.

[4] Jasper J.M. Strategic marginalizations and emotional marginalities: The dilemma of stigmatized identities // Surviving against odds: The marginalized in a globalizing world / Ed. by D.K. Singh Roy. – New Delhi: Manohar publishers, 2010. – P. 29; Whittier N. The politics of child sexual abuse. – Oxford: Oxford univ. press, 2009.

социальные движения строятся на сочувствии и эмпатии – к меньшинствам, незащищенным социальным группам, животным и др.

При этом чувство справедливости является частью любого социального движения и в отличие от гордости, стыда и сочувствия наиболее тесно связано с идеологией движения. Несправедливость связывается с обвинением или возложением вины на тех, кого считают ответственными за эту несправедливость. Тут присоединяется целый ряд эмоций – презрение, ненависть, разочарование, гнев, и в силу негативного характера этого комплекса чувств обвинение может обладать мощной мотивирующей силой[1]. В рамках социальных движений обычно четко дифференцируются основные персонажи, которые используются в политических дебатах – «жертвы, злодеи и герои». Каждый персонаж вызывает у публики эмоции страха, негодования, восхищения, сочувствия и др.; так формируются коллективные представления, лежащие в основе социальных движений [с. 542–544].

В заключение авторы определяют основные направления будущих исследований по данной теме. Эксперты приходят к выводу, что самым интересным станет изучение комбинаций, последовательности и циклов эмоциональных состояний, определяющих деятельность социальных движений, т.е. своеобразной «эпидемиологии эмоций» – распространения и заражения эмоциями в виртуальном и физическом пространстве. Будущие исследования также должны быть сфокусированы на механизмах, с помощью которых активисты воздействуют на эмоции разных аудиторий – социологам следует пополнить каталог «техник, запускающих чувства» (sensitizing apparatuses). Необходимы и сравнительные исследования: как отличаются социальные движения относительно того, какие чувства и эмоции они задействуют, какой тип эмоциональной работы практикуют. Авторы полагают, что для понимания эмоциональных аспектов социальных движений важно сфокусироваться на микроуровне социального взаимодействия, изучение которого дополнит исследования исторических и структурных факторов появления и деятельности социальных движений.

О.А. Симонова

[1] Jasper J.M. The art of moral protest. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1997. – P. 362.

2017.01.017. УОРД М. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИКРОМОБИЛИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ: МУЛЬТИСТАДИЙНАЯ ТЕОРИЯ И РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.
WARD M. Rethinking social movement micromobilization: Multi-stage theory and the role of social ties // Current sociology rev. – L., 2016. – Vol. 64, N 6. – P. 853–874.

Ключевые слова: активизм; микромобилизация; стадиальная теория; коллективные действия; социальные движения; социальные связи.

В своей статье Мэттью Уорд (Южно-Миссисипский университет, г. Хэттисберг, США) анализирует процесс микромобилизации[1], рассмотрение которого представляет собой одно из магистральных направлений современной социологии социальных движений. Автор статьи ставит перед собой задачу выявить «слабые» в теоретико-методологическом отношении аспекты имеющихся исследований по микромобилизации и предложить новые решения. Уорд критикует распространенную модель микромобилизации, основанную на сходстве участников (affinity-initiated model), расширяя ее на основе синтеза результатов новых исследований в социальной психологии и сетевой теории, а также анализа латентных социальных связей [с. 853].

В большинстве социологических теорий микромобилизация трактуется как простой процесс, бинарная зависимая переменная (индивиды могут участвовать, а могут не участвовать в коллективных действиях)[2]. Крайне редко данный процесс описывается как сложный и многоступенчатый[3]. В этом случае определение свойств

[1] Термин «микромобилизация» используют, чтобы обозначить набор процессов взаимодействия, посредством которых индивиды и группы вовлекаются в деятельность общественных движений, который аналитически отличается от макромобилизационных процессов, таких как, например, изменения во властных отношениях. См., например: Walsh E.J. Resource mobilization and citizen protest in communities around Three Mile Island // Social problems. – Berkeley (CA), 1981. – Vol. 29, N 1. – P. 1–21. – *Прим. реф.*

[2] См., например: Passy F., Giugni M. Social networks and individual perceptions: Explaining differential participation in social movements // Sociological forum. – N.Y., 2001. – Vol. 16, N 1. – P. 123–153.

[3] Beyerlein K., Hipp J. A two-stage model for a two-stage process: How biographical availability matters for social movement mobilization // Mobilization. – San

участников и их отсутствия у не участвующих в движении остается необходимой частью анализа микромобилизации.

Подчеркивая концептуальную неясность понятия микромобилизации, автор констатирует, что до настоящего времени соответствующий процесс трактовался двумя различными способами.

В первом случае микромобилизация понималась как «ряд процессов взаимодействия, инициируемых и используемых представителями социальных движений для мобилизации или влияния на различные целевые группы для достижения целей движений»[1]. Основным здесь является процесс «согласования фрейма», т.е. выработки общего ви́дения проблемы и ее решения. Однако, по мнению автора, в этих работах преувеличивается роль интересов, ценностей и верований в процессе микромобилизации, т.е. когнитивных составляющих процесса в ущерб чувствам индивидов. Такого рода подход оборачивается отсутствием четкого разграничения между организованными действиями по мобилизации и мобилизации на уровне малых групп и отдельных индивидов[2].

Во втором случае микромобилизация понималась как мультистадийный процесс, в котором рассматривались различные механизмы, дифференцирующие индивидов по мере принятия решения об участии в социальном движении[3].

Сам же автор предлагает синтетический подход к определению. Под микромобилизацией он понимает мультистадийный процесс на уровне индивидов и малых групп, многоступенчатую инкорпорацию в коллективные действия, где каждая стадия имеет когнитивные (формирование идентичности), аффективные (воз-

---

Diego (CA), 2006. – Vol. 11, N 3. – P. 219–240; Munson Z. The making of pro-life activists. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2008.

[1] Walsh E.J. Resource mobilization and citizen protest in communities around Three Mile Island // Social problems. – Berkeley (CA), 1981. – Vol. 29, N 1. – P. 1–21; Frame alignment processes, micromobilization and movement participation / Snow D., Rochford E., jr., Worden S., Benford R. // American sociological rev. – Thousand Oaks (CA), 1986. – Vol. 51, N 4. – P. 464–481.

[2] New media, micromobilization and political agenda setting: Crossover effects in political mobilization and media usage / Bekkers V., Beunders H., Edwards A., Moody R. // The information society. – N.Y., 2011. – Vol. 27, N 4. – P. 209–219.

[3] Schussman A., Soule S. Process and protest: Accounting for individual protest participation // Social forces. – N.Y., 2005. – Vol. 84, N 2. – P. 1083–1108; Viterna J. Women in war. – Oxford: Oxford univ. press, 2013.

никновение эмоций) и / или структурные (социальные связи) аспекты [с. 855]. Уорд считает, что это определение обладает преимуществами, поскольку основывается на разных теоретических моделях и подразумевает необходимость исследования каждой стадии и механизмов влияния социальных связей на вероятность участия индивидов в социальном движении. Это, по его мнению, создаст новые возможности для эмпирического исследования.

Далее следует подробная критика теории микромобилизации на основе сходства. Основную идею последней можно свести к тому, что участие индивидов в социальном движении зависит от наличия у них общих идеологических взглядов, которые преобразуются в мотивацию к действию. Таким образом выделяется только одна стадия, что, согласно автору, совершенно недостаточно для эмпирического исследования: исследователи пускаются на поиски факторов, влияющих на участие, но само участие остается необъясненным. При этом субъектами исследования выступают только мобилизованные участники движения. В рамках этой теории была разработана и двухфазная модель, где индивиды подразделялись на две группы: желающих участвовать в протестном движении и реально к нему присоединившихся[1]. Такая стратегия позволила выделить факторы, обусловливающие желание участвовать в движении, и факторы, влияющие на реальное участие, хотя опять-таки, почему одни индивиды принимают решение участвовать в движении, а другие – нет, оставалось не до конца понятым. Дж. Витерна в исследовании одного из женских движений сделала попытку объяснить стадию сходства идеологических представлений, базируясь на концепции идентичности, трактуемой в рамках традиции символического интеракционизма[2]. Личностная идентичность здесь играет ключевую роль в мотивации к участию в социальном движении: индивиды формируют «идентичность участника», так как воспринимает эту идентичность как совпадающую с высоко ценимой собственной идентичностью в данной сфере взаимодействия. Поэтому индивиды с большей вероятностью сформируют идентичность участника, если: 1) поверят, что их навыки и ресурсы позволят им сде-

[1] Beyerlein K., Hipp J. A two-stage model for a two-stage process: How biographical availability matters for social movement mobilization // Mobilization. – San Diego (CA), 2006. – Vol. 11, N 3. – P. 219–240.

[2] Viterna J. Women in war. – Oxford: Oxford univ. press, 2013. – P. 51.

лать значительный вклад в деятельность движения; 2) имеются значимые социальные связи между участниками и потенциальными участниками движения; 3) социальные движения позиционируют участие как способ защитить высоко ценимую индивидом идентичность; 4) социальные движения будут основываться на идеях, эмоционально близких к настроениям потенциальных участников [с. 857–858].

Другие авторы в рамках модели сходства рассматривают микромобилизацию как процесс, состоящий из четырех стадий[1]. Начальной стадией является дифференциация индивидов на не поддерживающих и поддерживающих движение, где последние составляют его мобилизационный потенциал. Второй стадией является мобилизация потенциальных участников через сети рекрутинга, которыми обладает социальное движение (к примеру, группы в социальных медиа). Следующей стадией является дифференциация индивидов по степени желания участвовать и представлениям о степени активности участия в деятельности движения. На четвертой, финальной стадии – реального участия – заинтересованные участники различаются по степени приверженности социальному движению. Специалисты подразделяют членов движения на «подписчиков» (жертвователи денег), сторонников (нерегулярное участие в деятельности) и активистов (регулярное участие)[2].

Далее автор анализирует слабости описанных концепций, доказывая, что в них недостаточно рассматривается роль сетей рекрутинга, которые являются мобилизационными структурами, определяющими до какой из стадий процесса дойдет потенциальный участник. Иногда их влияние преувеличивается, но именно социальные связи воздействуют на вероятность того, будет ли поддержано движение, сформируется ли мотивация к участию и состоится ли реальное участие. Автор считает социальные связи каналами, направляющими каждую стадию процесса вовлечения индивидов в социальное движение, поскольку они обеспечивают «структурную

[1] Oegema D., Klandermans K. Why social movement sympathizers don't participate: Erosion and nonconversion of support // American sociological rev. – Thousand Oaks (CA), 1994. – Vol. 59, N 5. – P. 703–722.

[2] Passy F., Giugni M. Social networks and individual perceptions: Explaining differential participation in social movements // Sociological forum. – N.Y., 2001. – Vol. 16, N 1. – P. 123–153.

доступность» и «наличие межличностных связей, облегчающих процесс рекрутинга»[1]. М. Уорд настаивает на том, что исследовать необходимо *вероятностное* влияние социальных связей на микромобилизацию, но не придавать им строгого детерминирующего характера и учитывать их при рассмотрении *каждой* стадии микромобилизации [с. 859–860].

Процесс «мобилизации консенсуса» и согласования фрейма формируют поддержку движения, и здесь социальные связи также играют важную роль. Б. Кландерманс определяет процесс «мобилизации консенсуса» как получение социальным движением поддержки своей позиции в результате участия представителей социального движения в публичных обсуждениях своих идей, стратегии и тактики борьбы за свои интересы[2]. Успех движения связан с интерпретативной работой («фреймированием»), т.е. конструированием определенных представлений у разных публик. Эти фреймы фокусируют, артикулируют и расширяют идеи для привлечения сторонников и демобилизуют противников движения[3]. Социальные связи и в этом случае направляют процесс достижения консенсуса и формируют траектории развития самих связей посредством конструирования представлений об общем благе и общем интересе и посредством определения ценности этого блага для разных групп людей. Во многом эти процессы становятся эффективными благодаря сетевому характеру социальных связей. Для обоснования этого тезиса автор привлекает концепцию сильных и слабых связей М. Грановеттера[4]. Сильные связи имеют большое значение для формирования поддержки социального движения со стороны отдельных индивидов, мнение которых подвержено влиянию значимых для них людей. К примеру, чем больше членов семьи вовлечены в социальное движение, тем больше индивид верит, что

[1] Schussman A., Soule S. Process and protest: Accounting for individual protest participation // Social forces. – N.Y., 2005, – Vol. 84, N 2. – P. 1086.

[2] Klandermans B. Mobilization and participation: Social-psychological expansions of resource mobilization theory // American sociological rev. – Thousand Oaks (CA), 1984. – Vol. 49, N 5. – P. 586.

[3] Snow D., Byrd S. Ideology, framing processes and Islamic terrorist movements // Mobilization. – San Diego (CA), 2007. – Vol. 12, N 1. – P. 124.

[4] Granovetter M. The strength of weak ties // The American j. of sociology. – Chicago (IL), 1973. – Vol. 78, N 6. – P. 1360–1380.

участники движения такие же, как он, и тем больше вероятность его участия в движении. В то же время слабые связи способствуют мобилизации посредством простого распространения информации, тем самым облегчая контакты между разными социальными группами. Они также имеют значение для организаторов движения и помогают им преодолевать границы собственных сильных связей. При этом характер связей может быть разным – негативным, нейтральным или позитивным.

Изучая воздействие социальных связей на мотивацию участия в движении, специалисты выделяют четыре основных мотива к вовлечению в коллективные действия – рациональность, идентичность, эмоции и идеология[1]. Мотивация к коллективному действию строится на инструментальной калькуляции издержек и вложений (к чему приведет и что будет достигнуто): мотивированные индивиды ожидают успеха движения в достижении своих целей. Желание участвовать также зависит от силы индивидуальной идентификации с определенной группой: отдельные люди с большей вероятностью мотивируются к участию, когда идентификация с ущемленной в правах группой переводится в идентификацию с каким-либо социальным движением[2]. Помимо этого, и социологи, и социальные психологи признают значительную роль разделяемых в группе эмоций и чувств, возникающих в ответ на несправедливость, формирующих желание участвовать в социальном движении по преодолению этой несправедливости и действующих как усилители мотивации к коллективному действию[3].

Таким образом, различные подходы акцентируют разные факторы микромобилизации: роль рациональной калькуляции, сте-

[1] Van Stekelenburg J., Klandermans B. Individuals in movements: A social psychology of contention // The handbook of social movements across disciplines / Ed. by B. Klandermans, C. Roggeband. – Heidelberg: Springer, 2010. – P. 157–204.

[2] Stryker S. Identity competition: Key to differential social movement participation? // Self, identity and social movements / Ed. by S. Stryker, T. Owens, R. White. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 2000. – P. 21–40.

[3] Van Stekelenburg J., Klandermans B. Individuals in movements: A social psychology of contention // The handbook of social movements across disciplines / Ed. by B. Klandermans, C. Roggeband. – Heidelberg: Springer, 2010. – P. 157–204; Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy / Van Zomeren M., Spears R., Fischer A., Leach C. // J. of personality a. social psychology. – Wash., 2004. – Vol. 87, N 5. – P. 649–664.

пень групповой идентификации, мотивирующую силу моральных эмоций, влияние общих ценностей и идеологических представлений. Социальные связи играют, по мнению автора, решающую роль в трансформации этой констелляции факторов в формировании коллективной идентичности, ведущей к коллективным действиям и появлению социальных движений. Для того чтобы коллективная идентичность обусловливала коллективное действие, она должна быть *политизирована* на основе разделяемого недовольства и определения оппозиционных групп и лиц и / или организаций, ответственных за сложившуюся несправедливость. В этих процессах опять-таки просматриваются функции социальных связей: формальные и неформальные связи обеспечивают структуру отношений, в которых идентичность участия вплетается в формирование определенных коллективных представлений, а также облегчают трансформацию этих представлений в политические [с. 862–864].

Даже если микромобилизация удается и заканчивается принятием решения об участии в социальном движении, существуют барьеры (к примеру, болезнь, преданность работе), снижающие вероятность реального участия. Уорд показывает, что социальные связи помогают управлять такими барьерами и помогают: 1) усилить осознание возможностей участия – например, информируют о ключевых участниках и ключевых организациях движения; 2) создавать достаточную мотивацию к преодолению данных барьеров [с. 865].

В заключении к статье автор сосредоточивается на перспективах будущих исследований по данной теме. Он настаивает на том, что при исследовании социальных движений нужно понимать, о какого рода социальном движении и о какой именно стадии микромобилизации идет речь, к тому же индивиды и группы могут проходить уникальные стадии. Например, в так называемых реактивных социальных движениях консенсус и мобилизация направляются угрожающими социальному порядку изменениями – активность исходит от групп, теряющих ресурсы, обычно защищенных, статусных социальных групп, а проактивные социальные движения мобилизуются в силу изменений в поле политических возможно-

стей – активистами в основном являются представители меньшинств или незащищенных групп[1] [с. 866–867].

В доминирующих моделях микромобилизации участие рассматривается как последний этап мобилизации, однако остается важный вопрос – насколько различается интенсивность и постоянство участия? Те же факторы, что обусловливают микромобилизацию, могут быть причинами как демобилизации, так и ремобилизации. Сети социальных связей продолжают играть заметную роль и после того, как участие в движении началось. Специалисты выделяют траектории поведения мобилизованных участников движения: постоянство участия; трансфер – переход в другое социальное движение; неопределенность участия (временный уход); прекращение участия[2]. Отсюда необходимо рассматривать процесс микромобилизации как сложный разнонаправленный процесс. Исследуя студенческие протесты в Германии, социологи обнаружили, что постоянство участия в социальном движении частично обусловлено эмоциональными реакциями на опыт успеха или провала в деятельности социального движения, тем самым обеспечив более нюансированную концептуализацию микромобилизации, в которой различные стадии этого процесса могут протекать в обратном порядке[3]. Поэтому, с точки зрения автора, необходимо исследовать альтернативные возможности в рамках процесса микромобилизации [с. 868].

О.А. Симонова

[1] Martin A., Dixon M. Changing to win? Resistance, threat and the role of unions in strikes, 1984–2002 // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2010. – Vol. 116, N 1. – P. 93–129.

[2] Corrigall-Brown C. Patterns of protest: Trajectories of participation in social movements. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2011.

[3] Tausch N., Becker J. Emotional reactions to success and failure of collective action as predictors of future actions intentions: A longitudinal investigation in the context of student protests in Germany // The British j. of social psychology. – Chichester, 2013. – Vol. 52, N 3. – P. 525–542.

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ

2017.01.018. М.А. ЯДОВА. МОРАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ. (Аналитический обзор)[1].

Ключевые слова: моральные авторитеты и образцы; идеалы; «значимые другие»; российская (постсоветская) молодежь.

Формирование личности невозможно вне жизненного этапа, на котором вопрос выбора авторитетов и примеров для подражания становится ключевым. По словам отечественного психолога Ю.Б. Гиппенрейтер, юность, вопреки расхожему мнению, не только признает, но и ищет авторитеты[2]. Под моральным авторитетом (от лат. *auctoritas* – суждение, влияние, пример) в социальных науках обычно понимают общепризнанное влияние какого-либо человека на различные сферы общественной жизни, которое основано на его нравственных достоинствах, знаниях, опыте; как правило, взгляды и поведение людей, имеющих моральный авторитет в обществе, признается критерием или идеалом поведения для остальных членов социума. Схоже, но не тождественно данной категории понятие «значимых других», которое обозначает – в узком смысле – людей, играющих центральную роль в процессе первичной социализации ребенка, а в широком – всех, кто имеет важное значение в жизни индивида любого возраста.

[1] Работа подготовлена в рамках исследовательского проекта «Интеграция социобиологических и социологических методов в исследовании эволюционных оснований морали и альтруизма (в приложении к российским сообществам)» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-06-00381 а).

[2] Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: «ЧеРо», при участии изд-ва «Юрайт», 2002. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/1/0155/1_0155-222.shtml#book_page_top [Дата обращения: 20.09.2016.]

В условиях духовно-нравственного кризиса, охватившего постсоветскую Россию, роль моральных авторитетов в нашем обществе заметно снизилась. В то же время, анализируя данные массовых опросов, социологи М.К. Горшков (Институт социологии РАН, г. Москва) и Ф.Э. Шереги (Центр социального прогнозирования и маркетинга, г. Москва) [2] замечают, что пессимистичные диагнозы относительно моральной деградации российской молодежи далеки от реальности. По словам исследователей, несмотря на то что молодое поколение действительно «несколько отстает от старшего по включенности в морально-нравственный контекст жизни общества», в целом российская молодежь демонстрирует «достаточно высокий морально-нравственный уровень» [2, с. 12]. Так, по результатам социологического исследования, проведенного сотрудниками Института социологии в мае 2009 г.[1], у 75% нынешней российской молодежи идеалов практически нет; 5% опрошенных признались, что разочарованы в своих идеалах. Идеалом для молодых чаще всего выступают родственники и друзья (65%); известные люди (11%) и учителя (9,5%) ими становятся нечасто, а киногерои и литературные персонажи и того реже (менее 3%). Вместе с тем факт отсутствия идеалов у большинства современных юношей и девушек отнюдь не означает, что для российской молодежи не существует тех, кто вызывает искреннее уважение. Однако, уважая личностные качества, восхищаясь умом и талантами кого-либо, юноши и девушки не считают необходимым подражать этим людям и, тем более, не стремятся «с них» делать жизнь. Примечательно, что с возрастом доля молодежи, имеющей пример для подражания, неуклонно сокращается (ср.: с 31,5% в возрасте 14–17 лет до 23,1% в возрасте 25–30 лет) [там же].

Схожие тенденции отмечает и социолог В.В. Петухов (Институт социологии, г. Москва) [4]. По его словам, круг референтной группы, которую россияне, независимо от возраста, считают авторитетной в вопросах морали, узок и ограничивается ближайшими родственниками, прежде всего родителями (29%), друзьями

[1] Данное исследование проводилось Институтом социологии РАН совместно с представительством фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации в 2007 г. и носило название «Молодежь новой России: Образ жизни и ценностные приоритеты». Выборочную совокупность составила молодежь в возрасте от 17 до 26 лет (1796 человек).

и коллегами по работе (38%)[1]. К мнению политиков склонны прислушиваться 17%, а к мнению писателей, деятелей науки и культуры и того меньше – 10%.

Между тем потребность в сверке собственных представлений со взглядами достойных и авторитетных людей достаточно велика: почти две трети опрошенных (63%) заявили, что им так или иначе необходимы единомышленники в отношении к морально-нравственным вопросам. Более трети сочли их число достаточным для себя, четверть респондентов отметили, что подобные люди есть, но их мало. Характерно, что в большей степени в единомышленниках нуждаются представители средней и старшей возрастных когорт, т.е. наиболее болезненно воспринимающие разложение привычных моральных норм и устоев. Молодежи, напротив, свойственны индивидуалистические ориентации: в этой подвыборке лишь около четверти признаются в том, что ощущают потребность в «значимых других», разделяющих их интересы и принципы по важным личным и общественным вопросам [4, с. 36–37].

По мнению Петухова, следствием зафиксированных тенденций является актуализация в массовом сознании россиян двух, казалось бы, взаимоисключающих процессов. С одной стороны, в последние годы усиливается попустительство в отношении нарушений общепринятых норм морали, с другой – наблюдается всплеск проявлений нетерпимости к любому случаю «инаковости». Так, из 14 предложенных респондентам поступков, которые принято считать аморальными, абсолютно неприемлемыми большинство считает лишь пять (их не могут оправдать ни при каких обстоятельствах свыше 75%) – употребление наркотиков, жестокое обращение с животными, однополые браки, гомосексуализм и оскорбление чувств верующих. В то же время россияне достаточно лояльны к грубости, хамству, нецензурной брани, присвоению найденных денег [4, с. 37].

[1] В статье В.В. Петухова приводятся данные опроса Института социологии РАН «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», проведенного в 2014 г. Объем выборки – 4 тыс. человек, репрезентирующих взрослое население страны в возрасте 18 лет и старше, в разбивке по возрастным когортам.

В свою очередь, по данным всероссийского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в июле 2014 г. (N=1000), 56% россиян отметили, что в их ближайшем окружении есть люди, которые являются для них моральными авторитетами; причем если среди молодежи 18–30 лет этот вариант ответа выбрали 69%, то в возрастной когорте 60-летних и старше так полагают лишь 37% [3]. Для лиц старшего возраста (75%) моральным примером являются преимущественно известные люди России – деятели культуры, ученые, политики, спортсмены и т.п.; пиетет молодежи (47%) перед известными россиянами значительно меньше. Также респондентам предлагали поразмышлять над вопросом, кому проще живется: тем, у кого моральные авторитеты есть, или тем, у кого их нет? Чуть менее половины молодых россиян (40%) считают, что проще тем, у кого есть примеры для подражания, 26% – что проще живется людям без подобных ориентиров. Схожие пропорции получены при ответе на вопрос о том, часто ли респонденты советуются по важным вопросам с авторитетными для себя людьми: часто – 39%, редко – 27% (в то же время никогда не советуются – 2%, затруднились с ответом – 1%).

Также интересны результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) инициативного всероссийского опроса на тему: «Российская молодежь: Какой она представляется самой себе и какой ее видит старшее поколение» (N=1600; 2014 г.) [6]. Цель опроса – выяснить, какие качества, по мнению представителей разных возрастных когорт, присущи современной российской молодежи, и кто является ее кумирами. Эмпирическим объектом исследования стали две возрастные группы: молодые люди до 35 лет и те, кто старше. Как выяснилось, собственные представления молодежи о своих сверстниках и взгляды представителей старших поколений достаточно схожи. По словам большинства опрошенных молодых людей (57%), в их жизни не существует тех, с кого они могли бы брать пример; из «старшей» подвыборки считают так же 41% респондентов. В качестве образца для подражания 9% молодых людей выбирают своих родственников и близких, тогда как среди респондентов старше 35 лет этого мнения придерживаются лишь 2%. Кроме того, в младшей возрастной группе каждый десятый (9%) считает своими кумирами попи или рок-звезд; реже упоминались различные исторические лично-

сти (4%), спортсмены (3%), современные российские политики (2%) и др. О том, что их кумиром является Владимир Путин, сказали 2% молодых людей. Представители старших поколений чаще высказывали предположения о том, что молодые люди стремятся быть похожими на героев телесериалов (4%), бизнесменов и олигархов (4%), нежели об этом говорила сама молодежь (1% и менее 1%, соответственно).

Схожие результаты были получены автором настоящего обзора при проведении лонгитюдного социологического исследования, посвященного изучению современных и традиционных ценностей «модернистов» и «традиционалистов» постсоветского поколения.

На первом этапе в конце 2008 – начале 2009 г. под руководством автора был проведен социологический опрос по специально разработанной проективной методике, фиксирующей традиционное и современное в поведенческих установках постсоветской молодежи. За основу современного типа поведения был принят тип действий, соответствующий основным характеристикам разработанной американским социологом А. Инкелесом модели «современной личности». Современно ориентированными считались индивиды с высокой степенью социальной ответственности, толерантности, независимости, законопослушности, с развитыми достижительными установками; традиционалистскими признавались качества, противоречащие современным[1]. Поскольку Инкелес обнаружил, что на меру и глубину «модерности» человека влияет уровень его образования, опрашивались юноши и девушки с разным объемом социальных ресурсов, прежде всего образовательных. Эмпирическим объектом исследования стали старшеклассники общеобразовательных школ (сильноресурсные) и учащиеся колледжей (слаборесурсные) как люди с потенциально разными типами будущей трудовой карьеры (ученики 10–11 классов в отличие от учащихся колледжей, как правило, нацелены на получение высшего образования) – по 800 человек в каждой подвыборке. Результаты опроса позволили выделить из общего числа респондентов «модернистов» и «традиционалистов». На последующих этапах исследования, в период с сентября 2010 по январь 2011 г. и в первой половине 2014 г., с ча-

[1] Подробнее см.: Inkeles A., Smith D.H. Becoming modern. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1974. – P. 19–32, 289–302.

стью респондентов, отнесенных по результатам анкетирования к «модернистам» и «традиционалистам», были проведены индивидуальные полуформализованные глубинные интервью биографического характера (N = 24 + 24 – в 2011 г.; N = 22 + 21 – в 2014 г.).

Участников интервью в числе прочего спрашивали о людях из числа их близких, которые являются для них авторитетом и примером для подражания [подробнее см.: 8]. Мы предположили, что в ближайшем окружении «модернистов» есть носители современных ценностей, в то время как «значимые другие» «традиционалистов» придерживаются традиционных принципов. Кстати, по мнению специалистов, структура восприятия «значимых других» в подростково-юношеском возрасте «задается четырьмя основными факторами: «эмоциональная привлекательность», «деловые способности», «неординарная внешность», «загадочность»[1].

В целом, выдвинутая гипотеза подтвердилась. «Модернисты» часто говорили о людях социально активных, из разряда «сделавших себя», много знающих и умеющих. Уважение «традиционалистов» вызывают, как правило, лица, наделенные чертами авторитарной личности: твердые до жестокости, умеющие настоять на своем и получить то, что нужно, любой ценой. Значительная часть «традиционалистов» убеждена, что пример брать не с кого, поскольку *«все плохие»*. Некоторые «модернисты» и «традиционалисты» отметили, что не могут назвать конкретного человека в качестве примера для подражания: им импонируют отдельные личностные качества разных людей. Обратимся к высказываниям некоторых респондентов [8, с. 272][2].

Я всегда с детства стремилась быть, как отец. <…> Он не из Москвы, он вырос в деревне. Из всех детей, из всех братьев-сестер, он единственный смог переехать в Москву, родить трех детей, построить свой бизнес. Ну, я всегда во всем хотела быть такой, как он. Отец всегда мне был, ну, не ближе мамы, а… Ну, мама это одно, а отец всегда выступал не столько в роли отца, сколько в роли друга, что ли.

Студентка колледжа, 18 лет (М)

[1] Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологический словарь-справочник. – Минск: Харвест, 2004. – С. 129.

[2] Далее будем обозначать: (Т) – «традиционалист (ка)», (М) – «модернист (ка)».

Дедушка по бате... Человек, который был всегда добр к людям, всегда помогал, был бессребреником, ну и просто через труд привил мне способность мыслить. Он никогда не сидел без дела. И мне говорил, что без дела сидеть мужику просто нельзя, всегда нужно что-то делать, учиться новому. А вообще мы с ним дом построили. Я с его подачи постоянно на даче помогал картошку копать, полить грядки, прополоть.

Студент вуза, 18 лет (М)

Нет, не бывает совершенных людей, нет такого, который для меня был бы словно идол или кумир….

Студент колледжа, 18 лет (Т)

Вообще-то все люди поганые, что их копировать. Ну, если только батя. Он сильный человек, его боятся. Ему если надо, он закопает всех, но свое получит.

Студент вуза, 18 лет (Т)

Примечательно, что в 2014 г., после событий Крымского кризиса, многие информанты (прежде всего – традиционно ориентированные) говорили о возросшем чувстве уважения с их стороны к действующему президенту РФ. По их словам, именно В.В. Путин поднял авторитет России на мировой арене, показав, что наша страна в состоянии отстаивать собственные геополитические интересы [подробнее см.: 7, с. 56]. Впрочем, это не противоречит данным многих социологических опросов, фиксирующих высокий уровень морального авторитета В.В. Путина среди молодых россиян. Отечественные социологи, отмечая патриотизм и значительный показатель доверия власти со стороны современной молодежи, шутливо называют первое несоветское поколение россиян «Поколением Пу». Для политических взглядов представителей этого поколения характерно противоречие: с одной стороны, кризис доверия практически ко всем государственным структурам и их агентам, а с другой – самый высокий уровень лояльности к первому лицу государства[1].

Близка обсуждаемой теме проблема нравственного и патриотического воспитания молодого поколения. Так, петербургский социальный психолог А.В. Пушкина (Санкт-Петербургский госу-

[1] Омельченко Е.Л. Молодежный вызов. Ч. 1. – 07.04.2011. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2011/04/07/lessons/2011 [Дата обращения: 15.10.2016.]

дарственный университет) в своей статье рассматривает вопрос влияния образов литературных персонажей и киногероев на формирование идеалов современной российской молодежи [5]. Опираясь на результаты ряда эмпирических исследований среди молодежи, она анализирует связь доминирующих ценностных ориентаций личности с качествами любимых персонажей.

По справедливому замечанию А.В. Пушкиной, для каждой эпохи и национальной культуры характерен свой идеал личности. В данном случае под идеалом исследовательница предлагает понимать тип личности, который выражает наиболее общие представления о желательных качествах человека, например, таких как честность, ум, доброта и т.д. В детстве чаще всего в качестве объекта почитания и подражания ребенок выбирает кого-то из близких родственников (родителей, бабушек или дедушек, старшего брата или сестру и т.п.); по мере взросления поиски объекта подражания выходят за пределы семьи. Очевидно, что идеальную модель поведения могут задавать не только реальные люди, но и герои художественных произведений, кино- или телефильмов.

В 2014 г. на базе кафедры социальной психологии факультета психологии СПбГУ было проведено исследование на тему «Предпочтения видов искусства и ценностные ориентации современной молодежи», в рамках которого проводился анализ любимых персонажей произведений искусства. Эмпирическим объектом исследования стали школьники, студенты, аспиранты и молодые специалисты г. Санкт-Петербурга в возрасте от 17 до 30 лет. В общей сложности на разных этапах исследования в работе приняли участие 160 человек; на основном этапе – 100 человек.

В числе любимых персонажей участниками исследования назывались герои фильмов и сериалов – Доктор Хаус (одноименный сериал), Джон Сноу («Игра престолов»), Элизабет («Скорая помощь»), Шелдон Купер («Теория большого взрыва»), Джек Долсон («Титаник»), Джеймс Бонд и др., а также литературные персонажи – Анна Каренина, Скарлетт О'Хара, Граф Монте-Кристо, Пьер Безухов, Печорин, Эраст Петрович Фандорин, Гарри Поттер. Достаточно часто опрошенные упоминали героев детских сказок и мультфильмов: Робин Гуда, Барона Мюнхгаузена, Незнайку, Пеппи Длинныйчулок и др. При этом важнейшими качествами любимых персонажей, по мнению респондентов, являются: целеустремлен-

ность, чувство юмора, способность идти на риск, независимость, честность, мудрость, оптимизм и др.

Примечательно, что результаты этого исследования во многом совпадают с данными уже упоминавшегося нами опроса Института социологии РАН (2009), которые освещались в статье М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги[1]. Для молодых россиян идеальный тип личности выражается в таких качествах, как чувство юмора, целеустремленность, ум (мудрость), уверенность в себе и способность идти на риск[2].

Таким образом, проведенный анализ позволяет А.В. Пушкиной сделать следующие выводы:

– в определенных жизненных ситуациях молодежь принимает действия и поведение любимых персонажей как образец для подражания;

– наиболее важными качествами героев, которым симпатизируют молодые россияне, являются оптимизм, чувство юмора, независимость, умение рисковать, а также честность и мудрость;

– понять направленность «поведенческого вектора» юноши или девушки можно, зная, что представляет собой «его» герой или героиня;

– на сегодняшний день «героем нашего времени» молодежь видит человека умного, самостоятельного, с хорошими адаптивными способностями, сохраняющего при любых обстоятельствах чувство юмора, оптимизм и гуманистические идеалы.

Известно, что отечественные социологи фиксируют значительные расхождения, существующие во взглядах столичных жителей и тех, кто живет в провинции. Это утверждение верно в отношении представителей всех возрастных когорт, в том числе и молодого поколения. Кажется важным уточнить, насколько различаются представления молодежи о моральных авторитетах в российских мегаполисах и «глубинке». Статья декана факультета инновационных технологий обучения Пензенского государственного университета профессора В.П. Букина, посвященная идеалам и

[1] Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Ценностные ориентации, нравственные установки и гражданская активность молодежи // Мониторинг общественного мнения. – М., 2010. – № 1. – С. 5–36.

[2] Там же. – С. 15–17.

ценностным ориентациям провинциальной молодежи, в некоторой мере дает ответ на этот вопрос [1].

Ссылаясь на результаты проведенного при его участии социологического исследования в Республике Мордовия, Пензенской и Ульяновской областях (2005), автор статьи пытается определить, в какой степени в сознании молодых россиян распространены нравственные ценности, идеалы и моральные нормы[1].

Было обнаружено, что наиболее авторитетными и влиятельными людьми для молодежи являются их близкие – родители, родственники, друзья и знакомые. На первом месте находятся родители и родственники. Причем с увеличением возраста доверие к ним начинает снижаться (ср.: 16–21 год – 80,3%, 22–26 лет – 73,6%, 27–30 лет – 72,7%). Относительно авторитета друзей и знакомых прослеживается схожая тенденция: их влияние достаточно велико, но ослабевает по мере взросления (с 57,2% – в подвыборке 16–21-летних до 43,5% – среди 27–30-летних). В то же время с возрастом возрастает число тех, кто не считает необходимым прислушиваться к чьим-либо советам (в самой младшей возрастной группе таких 13,3%, тогда как среди 27–30-летних – уже почти 19%). Достаточно небольшим оказывается влияние педагогов в вузах и техникумах: лишь для 12,5% представителей младшей возрастной когорты они являются авторитетом, в старшей «молодежной» группе данный показатель еще ниже и не превышает уровень статистической погрешности (2,4%). Это связано, видимо, с тем, что к 22 годам молодежь, как правило, завершает учебу в системе среднего профессионального и высшего образования. В то же время «молодые взрослые» значительно чаще представителей младших возрастных когорт прислушиваются к своим руководителям на работе (ср.: 16–21 год – 4,1%, 22–26 лет – 11,4%, 27–30 лет – 14,3%). Это также можно объяснить сменой привычного «учебного» круга общения

[1] Исследование проводилось по инициативе Института социологии РАН и представительства фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации. В исследовательскую группу вошли ученые и специалисты Приволжского Дома знаний, Пензенского государственного университета, НИИ регионологии (г. Саранск), Ульяновского государственного университета. По квотной выборке (учащиеся и работающие, городские и сельские жители) были опрошены 1500 человек (по 500 – в каждом регионе) в возрасте от 16 до 30 лет. Результаты сгруппированы по трем возрастным подвыборкам: 16–21 год, 22–26 лет, 27–30 лет.

молодежи на «профессиональный». Примечательно, что, принимая важные решения, молодежь практически не прислушивается к советам религиозных лидеров (1,6%), политических и общественных деятелей (0,8%).

По словам В.П. Букина, исследования, проведенные в других регионах России, в том числе в столицах, во многом совпадают с полученными им результатами. Например, в Санкт-Петербурге «вне конкуренции остается влияние родителей, прежде всего матери (58% опрошенных) и в меньшей степени отца (44%), затем с большим отрывом следуют друзья (24%), книги (19%), фильмы (15%), родственники (13%) и на последнем месте – учителя (10%)»[1].

Подводя итоги, необходимо отметить, что, вопреки распространенному в современном российском обществе мнению, постсоветская молодежь не существует в «нравственном вакууме», и ей свойственна достаточна сильная потребность в сверке собственных морально-нравственных принципов с представлениями авторитетных и заслуживающих доверия людей. Судя по результатам актуальных социологических исследований среди молодежи, не находят достаточного подтверждения и пессимистические высказывания о «моральном разложении» новых поколений россиян.

Список литературы

1. Букин В.П. Ценностные ориентации и идеалы как фактор социализации провинциальной молодежи // Регионология. – Саранск, 2009. – № 2. – С. 263–268.
2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Ценностные ориентации, нравственные установки и гражданская активность молодежи // Мониторинг общественного мнения. – М., 2010. – № 1. – С. 5–36.
3. Моральные авторитеты: Нужны ли людям моральные авторитеты? И кто для них такой авторитет? Материалы опроса фонда «Общественное мнение». – М., 2014. – 24 сентября. – Режим доступа: http://fom.ru/tsennosti/11719 [Дата обращения: 20.09.2016.]
4. Петухов В.В. Российская трансформация и общественная мораль // Социологические исследования. – М., 2015. – № 12. – С. 28–40.
5. Пушкина А.В. Герои нашего времени: Роль персонажей произведений искусства в формировании героев и идеалов современной молодежи // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и ис-

[1] Полутин С.В. Региональный молодежный субсоциум как категория социологического анализа // Регионология. – Саранск, 2000. – № 2. – С. 285.

кусствоведение: Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2015. – № 4, ч. 1. – С. 147–150.
6. Российская молодежь: Какой она представляется самой себе – и какой ее видит старшее поколение: Материалы опроса ВЦИОМ. – М., 2014. – 27 июля. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114879 [Дата обращения: 15.10.2016.]
7. Ядова М.А. Крымский кризис – 2014 глазами молодежи постсоветского поколения // Социологические исследования. – М., 2016. – № 9. – С. 50–58.
8. Ядова М.А. «Модернисты» и «традиционалисты» постсоветского поколения: Особенности индивидуальных биографий // Социологический ежегодник, 2011 / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отдел социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ-ВШЭ; Ред. и сост. Покровский Н.Е., Ефременко Д.В. – М., 2011. – С. 264–280.

CURRICULUM: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

2017.01.019. МАРТИНО Г. КАК НАБЛЮДАТЬ: НРАВЫ И ОБЫЧАИ (фрагменты из книги). (Перевод с англ.)*
MARTINEAU H. How to observe: Morals and manners. – L.: Charles Knight & co., 1838. – P. 61–80, 96–97, 124–129, 158–160 (с сокращениями).

ЧАСТЬ II. ЧТО НАБЛЮДАТЬ?

Человек неискушенный постоянно изумляется тому, что исследователи отдельных классов фактов могут узнать столь многое из отдельной отрасли изысканий. Расскажите несведущему человеку о ежедневных результатах изучения Ископаемых Останков, и он спросит, как удалось исследователю узнать, что делалось в мировые эпохи до сотворения человека. Неразумному человеку будет удивительно слышать утверждения о состоянии английской нации, основывающиеся на единичном исследовании того, как проводились в жизнь законы о бедных со времен их появления. Некоторые физиогномисты сосредоточивают свое внимание на единственной черте человеческого лица и могут довольно точно истолковать исходя из нее общий душевный склад; и, на мой взгляд, каждый художник-портретист доверяется в основном какой-то одной черте, стремясь достичь подобия, и больше изысканий и внимания направляет на эту черту, а не на какие-либо другие.

Физиогномию нации составляет множество черт, и вряд ли кто-то из путешественников в состоянии изучить их все. Один и тот же человек редко бывает достаточно просвещенным, чтобы сразу проводить исследование и религии народа, и его общих мо-

* Продолжение. Начало см. в предыдущих номерах журнала.

ральных понятий, и его семейно-домашнего и экономического состояния, и его политических условий, и фактов его прогресса, т.е. всего что необходимо для полного понимания его нравов и обычаев. Мало кто даже пытался провести исследование такого масштаба. Самое худшее здесь то, что мало кто мечтает предпринять исследование хотя бы какой-то одной черты общества. Мы были бы уже богаты познаниями о нациях, если бы каждый путешественник старался сообщить нам какую-то часть морального исследования, пусть даже очень ограниченную; взамен нам предлагаются наблюдения, почти совершенно бессвязные. Путешественник слышит и записывает, что говорят те или иные люди. Если трое или четверо соглашаются в своих утверждениях по тому или иному вопросу, то у него не возникает сомнений, и дело считается решенным. Если они говорят разное, то он впадает в замешательство, не знает, кому верить, и разрешает вопрос, вероятно, в соответствии со своими предубеждениями. В обоих случаях дело обстоит одинаково плохо. Он будет слышать в каждом вопросе только одну сторону, если видит только один класс людей – как, например, англичане в Америке, обычно приходящие с рекомендательными письмами от домашних купцов к купцам в приморских городах, не слыша в итоге ни о чем, кроме федеральной политики, и не видя ничего, кроме аристократических манер. Они возвращаются домой с понятиями – как они полагают, бесспорными – о великом банковском вопросе, состоянии партий и связях общего правления с правительствами штатов и воспроизводят своими устами слова тех, чью небезупречность они не сознают, о простом народе, правительстве толпы, пронырливости бедняков, перебирающихся из грязи в князи, и т.п. Такое частичное общение фатально для наблюдений путешественника; но в то же время оно создает меньше трудностей и менее трудоемко, чем лучший процесс перехода из одних кругов людей в другие и выслушивания того, что все они имеют сказать. Ни один путешественник по Соединенным Штатам не сможет многого узнать о стране, не пообщавшись в равной мере с фермерами и торговцами, с ремесленниками и государственными деятелями, с жителями деревень и плантаторами; но, выполняя этот долг, он будет настолько сбит с толку противоречивостью утверждений и убеждений, что часто будет просто закрывать свой блокнот в состоянии скепсиса относительно того, скрывается ли вообще за этой бурей

мнений хотя бы какая-то устойчивая истина. Так бывает со странником, ходящим по улицам Варшавы, которому внушают доверие жалобы некоторых разгневанных плакальщиков, просиживающих в своих домах, и который затем приезжает в Санкт-Петербург и находит там свидетельства просвещенности царя, его человечности, его отеческой любви к своим подданным и общего возвышения над своей эпохой. В Варшаве путешественник называл его негодяем; в Петербурге он вынужден объявить его филантропом. Такой неизбежно оказывается неопределенность суждения, когда оно основывается на свидетельствах индивидов. Добираться до фактов состояния народа через речи индивидов – безнадежное дело. Ясная истина такова: надо начинать не с того конца.

Великий секрет мудрого исследования Нравов и Обычаев заключается в том, что начинать его надо с изучения **вещей**, используя **речи людей** как пояснение к ним.

Хотя факты, которых ищут путешественники, относятся к Людям, они легче всего узнаются через Вещи. Красноречивость Институтов и Записей, в которых воплощается и увековечивается действие нации, понятнее и вернее, чем свидетельства любого многообразия индивидуальных голосов. Голос всего народа возносится ввысь в неслышной работе института; состояние масс отражается с поверхности записи. Институты нации – политические, религиозные или социальные – кладут в руки наблюдателя свидетельства ее способностей и недостатков, которых не смогло бы дать изучение индивидов и на протяжении всей жизни. Документы любого общества, какими бы они ни были, будь то архитектурные останки, эпитафии, гражданские реестры, национальная музыка или любое другое из тысяч проявлений общего духа, которое можно обнаружить у каждого народа, дают за один день больше информации о Нравах, чем разговоры с индивидами в течение целого года. Так же нужно судить и об Обычаях, поскольку не было еще ни одного общества, даже женского монастыря или поселения моравских братьев, в котором не было бы разнообразных обычаев. Нужно искать общие указания, а не обобщения, выведенные из манер индивидов. Много ли в городах встреч ради общения? Каковы их цели и характер? Являются ли они в основном религиозными, политическими или праздничными? Если религиозными, то похожи ли они больше на Страстную неделю в Риме или на молитвенные собрания в

Огайо? Если политическими, то встречаются ли люди на широких равнинных площадках для поклонения Солнцу Поднебесной, как в Китае, в городских холлах для выражения протеста вместе с их представителями, как в Англии, или в секретных местах для того, чтобы замышлять козни против своих правителей, как в Испании? Если праздничными, то похожи ли они больше всего на итальянский карнавал, где все веселятся, или на египетский праздник, когда все взгляды торжественно сосредоточены на кружащихся дервишах? Присутствуют ли там женщины? В каких пропорциях и по какому закону свободы? Каковы публичные развлечения? Есть очевидная разница между миланской оперой, парижским театром, боем быков в Мадриде, ярмаркой в Лейпциге и военным парадом в Санкт-Петербурге. – Как подражают столице в провинциальных городках? Выражено ли подражание провинциалов больше всего в показухе, науке или изящных искусствах? – Каковы народные развлечения в деревнях? Собираются ли люди вместе для пьянства или для чтения, для дискуссии, игр или танцев? На что похожи общественные дома? Едят ли люди фрукты, рассказывают ли истории? Или пьют эль и говорят о политике? Или зовут друг друга на чай и прогуливаются на свежем воздухе? Или пьют кофе и играют в домино? Или потягивают лимонад и смеются над Петрушкой? Собираются ли они толпами в закрытых помещениях или на улице под вязом, выбираются ли на поле для игры в крикет или в дюны? – Между более скромными классами разных стран различия так же велики, как и между возвышающимися над ними по рангу. Шотландские похороны совершенно не похожи на церемонии погребального костра у сингалов, а погребение в греческой церкви мало напоминает то и другое. Конклав Белых парней в Мейо, собирающийся в грязном сарае у пустоши, где все приносят друг другу страшную клятву, очень отличается от схожего тайного собрания швейцарских инсургентов, собирающихся с той же целью на склоне в сосновом лесу, и те и другие почти ничем не похожи на героев последней революции в Париже или на компании ковенантеров, которым приходилось встречаться под давлением схожих обстоятельств в ущельях Шотландских гор. – Воплощаются ли формы манер всех классов, от высших до низших, в действии или же они ограничиваются словами? Обнаруживаются ли варварская свобода в низших слоях и формальность в высших, как в новообразованных

странах? Или все вместе доросли до периода утонченной цивилизации, превзойдя в естественности общения свободу австралийского крестьянства и этикет яванского двора? – Каковы обычаи профессионалов в обществе, от видного столичного юриста или врача до сельского цирюльника? Обычаи великого корпуса профессионалов должны многое рассказать о том обществе, которому они служат. – То же можно сказать о любом обстоятельстве, связанном со служением обществу: его характер, будь то рабский или свободный, отмеченный подлостью или преуспеванием, всеохватный или ограниченный в применении, должен удостоверять желания и привычки и, следовательно, обычаи сообщества лучше, чем речь и манеры любого индивида в обществе. Путешественник, имеющий все это в виду, вряд ли ошибется. Каждая вещь, на которую он посмотрит, от акведука до чаши для пунша, от тюрьмы до птичника, от аппарата университета до мебели в пивной или в детской комнате, будет чему-то его учить. Когда оказалось, что вождям краснокожих невозможно передать понятие цивилизации белокожих никакими словами, которые могут произнести белые, их привезли в города белых. Некоторым хватило показа корабля. Воины прерий были слишком горды, чтобы открыто выразить в словах свое потрясение, и слишком благородны, чтобы выказать, даже друг другу, хотя бы намеком свой страх; но испарина выступила у них на лбах, пока они безмолвно глядели, и ни одно слово войны не слетало с их уст с этого часа. <…> – Кто из нас не узнал бы больше об обычаях жителей Помпеи, совершив утренний променад по руинам их жилищ и общественных залов, нежели проводя многочисленные ночные конференции с некоторыми из их призраков?

Обычно Нравы схоластически подразделяются на личные, домашние и социальные, или политические. Эти три вида, однако, так легко переходят друг в друга и настолько неразделимы на практике, что для путешественника это различие будет менее полезным по сравнению с другими, которые он может создать сам либо принять.

Мне кажется, Нравы и Обычаи нации можно заключить в следующие части исследования: религию народа; преобладающие моральные понятия; семейно-домашнее состояние; идеи свободы; и его прогресс, действительный или будущий.

Глава I. Религия

Религия, в самом широком смысле (в том, в котором путешественник должен ее опознавать), бывает трех видов, не во всех случаях мгновенно различимых, но несущих на себе разный общий отпечаток: Дозволяющая, Аскетическая и Умеренная. Эти виды не отделены друг от друга границами сект. Мы не можем сказать, что языческие религии подпадают под один вид, магометанство – под другой, а христианство – под третий. Разница кроется не в верованиях, а в духе. Многие язычники были такими же умеренными, как и любые христиане, многие христиане – такими же распущенными, как и любые язычники, многие магометане – такими же распущенными, а многие – такими же аскетичными, как и любые язычники или христиане. Правильнее, видимо, будет различать их так: дозволяющие религии мира поклоняются неодухотворенной природе – материальным объектам и их движениям и примитивным страстям человека; аскетическая с презрением относится к природе и почитает искусственные ее ограничения; умеренная же почитает одухотворенную природу – Бога в его произведениях, обнимающих собою как материальный мир, так и дисциплинированный человеческий дух с его регулируемыми аффектами.

Дозволяющая религия всегда ритуальна. Ее боги – природные явления и персонифицированные человеческие страсти; как только им приписывается способность приносить добро или вред, появляется идея умиротворения и рождается ритуальный культ. Землетрясения, наводнения, охота, любовь, возмездие – все эти агенты зла и добра должны быть умиротворены, и им приносятся жертвы и молитвы; предполагается, что только в этих обрядах выполняются религиозные акты. Как бы это ни было модифицировано, здесь мы находим низкое состояние религиозного чувства. Оно может проявлять себя у индусов, окунающихся в Ганг, или у христиан, которые принимают отпущение грехов в самом грубом его виде. В обоих случаях обнаруживается тенденция предоставлять поклоняющемуся возможность довольствоваться низким моральным состоянием и увековечивать его вкус к эгоистическому попустительству.

Аскетические религии тоже ритуальны. Достаточно взять фарисеев древности, чтобы показать, почему это так; и в наше вре-

мя есть на островах Общества некоторое множество людей, являющихся, видимо, духовными наследниками аскетических жрецов иудаизма. Обитатели островов Общества отлучены от многих невинных привилегий и естественных удовольствий табу; и точно так же фарисеи возлагали на плечи людей тяготы слишком тяжелые, чтобы их нести, предписывая утомительные церемонии, служащие доказательствами святости, и экстравагантное самоотречение, требуемое набожностью. Духовная вседозволенность всегда шла рука об руку с этой экстравагантностью самоотречения. Духовные пороки – гордыня, тщеславие и лицемерие – так же фатальны для высокой нравственности при этом состоянии религиозного чувства, как и чувственная вседозволенность при другом; и не имеет большого значения для морального состояния народа, погрязшего в них, исповедует ли он христианство, магометанство или язычество. Нравы людей, избравших служение Богу на пути бездеятельной жизни в монастырском безбрачии, ничуть не выше, чем нравы факиров, отращивающих запредельной длины ногти, или нравы несчастных матерей на тихоокеанских островах, которые душат своих младенцев и бросают их к ногам своего оскалившегося идола.

Умеренная религия – наименее ритуальная из трех, и она отбрасывает такие обряды по мере своего продвижения к чистоте. Религия в чистом ее виде – не занятие, а умонастроение; и выражают ее не жертвоприношения, не молитвы на углах улиц, не посты и не публичные демонстрации. Высшие проявления этого порядка религии обнаруживаются в христианских странах, хотя и в других есть индивиды и даже целые разряды людей, понимающие, что надлежащее наслаждение всеми блаженствами, которые даруются нам Провидением, и регулируемая работа всех человеческих аффектаций являют собою подлиннейшее поклонение Творцу всего. Как есть христиане, ищущие опору в своем ритуальном поклонении и вступающие в монашескую жизнь, так есть и магометане и язычники, чьей высшей религиозной целью является самосовершенствование, искомое через свободное, но дисциплинированное упражнение их целостной природы.

Зависимость нравов от характера религии очевидна. Ясно, что у людей, чьи боги полагаются попустительствующими, чьи священники проповедуют вседозволенность и чей культ связан с потворством страстям, политические и домашние нравы должны

быть очень низкими. Какой чистоты можно ждать от народа, у которого женщины востребуются в свой час для непристойных служб в буддистском храме, и какой человечности можно ждать от жителей районов, где жилища непременно запирают от множеств, идущих толпами на празднества Джаггернаута, – множеств, из гущи которых ежегодно тысячи выпадают мертвыми, так что скелеты их устилают дорогу к омерзительному храму. – Там, где религия характеризуется аскетизмом, естественное и необузданное упражнение человеческих чувств считается так называемой распущенностью и, как следствие этого, скоро становится действительной распущенностью, согласно общему правилу, что дурное имя превращает то, к чему оно прикрепляется, в дурное качество. <…>

Продолжим рассмотрение зависимости нравов от характера религии. Ясно, что в той мере, в какой та или иная религия поощряет попустительство, позитивно или негативно, – поощряет, так сказать, эксцесс страстей, – сила будет одерживать верх над правом, слабые будут уступать сильным, и, таким образом, положение беднейших классов будет зависеть от характера религии их страны. Чем больше религия тяготеет к вседозволенности, тем больше беднейшие классы беззащитны перед рабством. Чем больше религия тяготеет к аскетизму, тем больше (при прочих равных условиях) тягот и нужды они должны на себе нести. Чем больше религия приближается к умеренности (к пользованию средствами наслаждения без злоупотреблений), тем больше бедные классы восходят к состоянию свободы и комфорта.

Характер религии служит подобным же образом показателем характера правления. Дозволяющая религия не может быть принята людьми, которые настолько умеренны в своих страстях, что способны сами собою править. Никто не стал бы выискивать признаки принесения кровавых жертв идолам в Капитолии, где заседает американский Конгресс. Аскетическая религия тоже приносит личное и взаимное зло, которое никогда не стали бы терпеть люди, согласные править друг другом. Никакая власть не может заставить таковых подчиниться лишениям и страданиям, могущим быть терпимыми только для самых истовых верующих – небольшой фракции любого общества. Там, где преобладает религия одного из этих двух видов, правление в стране обычно характеризуется абсолютизмом – деспотизмом, более или менее смягченным различными

влияниями. Дело наблюдателя – привести религию и правление в сравнение и увидеть, как последнее модифицируется сосуществованием с первой.

Дружеские связи в обществе зависят от преобладающей религии не меньше, чем домашние и политические. При дозволяющей религии обычаи будут складываться из конвенционального и грубого материала. <…>

При аскетических формах вся грубость будет частично скрываться, но никогда не будет большего приближения к простоте, чем при дозволяющей религии. При окостенении религии, сведенной к простым обрядам, общество становится тем формальнее, чем больше оно считает, что становится чище. Воспользуемся еще раз крайним примером. Шейкеры в Америке столь же непросты, как и любое находимое нами множество людей, с их умами и даже публичными дискурсами, наполненными единственно темой их целибата, а также их общением друг с другом, градуированным соответственно строгим правилам этикета. Ни в одной нации сегодня настолько крайний аскетизм не может распространиться до такой степени, чтобы войти в связь с ее общим правлением; но можно наблюдать, что сами эти общества аскетов живут при деспотизме – который им предписан, если их не снабдила им общая воля.

При умеренном аспекте религии только и может быть обнаружено приближение к простоте социальных манер. На данный момент в любой из стран мира мы находим лишь ее отдаленное предвестие – лишь отдаленное предвосхищение той непринужденности социальных манер, которая должна существовать единственно там, где жизненные удовольствия используются свободно и без злоупотреблений. То, что дозволяющая и аскетическая партии хвастаются достижением этого результата – под именем непринужденности и простоты, – не имеет никакого значения. К грубости присоединяется столько мук, что нет оснований хвалиться непринужденностью; в аскетизме слишком много усилий, чтобы допустить грацию простоты. Задача путешественника – отмечать, куда бы он ни направился, степень, в которой грубость смягчается, а аскетизм ослабевает, уступая место более высокой форме умеренности, которая, если общество, подобно индивиду, учится на своем опыте, должна в конечном счете возобладать. Когда многие индивиды в обществе достигают самозабвения, пробуждаемого высо-

ким и свободным религиозным чувством, но несовместимого с попустительскими и аскетическими склонностями, тон манер в этом обществе становится намного возвышеннее. Когда, избавясь от грубости потворства своим желаниям и пут самоотречения, каждый человек будет самопроизвольно думать о своем ближнем больше, чем о самом себе, мир наконец засвидетельствует совершенство манер. Ясно, что высокие нравы, выражением которых служат такие рафинированные манеры, должны во многом зависеть от возвышения религиозного чувства, из которого они эманируют.

Путешественник, возможно, возразит против классификации обществ по их религиозным тенденциям и спросит: разве не обнаруживаются в любых многочисленных собраниях людей умы всякого рода? Это верно, но все же во всех сообществах есть преобладающее религиозное чувство. Религиозное чувство, как и прочие, модифицируется сильными общими влияниями, под которыми живет каждое общество; и в нем, как и в прочих видах, поверх частных различий будет присутствовать общее сходство. Хорошо известно, что даже секты, обособленные в своих мнениях и стесненные формами, различаются в разных странах так сильно, как если бы у них не было общих уз. Не только епископство у урожденных ост-индцев не является той же религией, что и в Англии, но и квакеры Соединенных Штатов, хотя и схожи с английскими в доктрине и обычаях, легко отличимы от них в религиозном чувстве; и даже евреи, от которых можно было бы ожидать одинаковости по всему миру, различаются в России, Персии и Великобритании так сильно, словно между ними поселился дух раскола. Они не только появляются тут в мехах, там в хлопке и шелке, а где-то еще в одежде из тонкого черного сукна; но и сердца, которые они носят под своими одеждами, мысли, которые шевелятся под кепкой, тюрбаном и шляпой, модифицируются в их действии подобно оттенкам небес, под которыми они движутся. Они сильно окрашены национальным чувством России, Персии и Англии; и если бы заветная мечта некоторых из них (которой, между прочим, многие из их числа перестали симпатизировать) сбылась и они были собраны все вместе в своих древних границах, то обнаружилось бы, что их религия, столь уникальная в своей застылости, будучи на словах единой, по духу своему множественна. – Гораздо легче ассимиляция между разными формами христианства и между христианством

и возвышенной естественной религией; и потому никогда не будет тщетой искать всепроникающее религиозное чувство среди различных религиозных институтов любого и каждого народа.

Конечно, в нации достаточно просвещенной, чтобы быть разделенной в теологических вопросах, открыть это религиозное чувство труднее, чем у непритязательного народа, регулирующего свою набожность обращением к одному разряду жрецов. Путешественник по Африке, поднимаясь вверх по Нигеру, с первого взгляда видит, что все верующие на берегах испытывают и должны испытывать чувства по отношению к божествам, коим возведены их храмы. <…> – В других местах религиозное чувство почти настолько же бесспорно, например, когда в Каире мы видим каждого человека ждущим очереди, чтобы облачиться в одежды паломника и направить стопы к горе Арафат. Здесь это чувство более высокого порядка, но столь же очевидно и единообразно. – Дальнейший шаг, с несколько меньшим единообразием чувства, обнаруживается у последователей Греческой церкви в российской провинции. Тамошние крестьяне придают большое значение времени для проявления своей набожности; а те, у кого есть средства на преподнесение какого-нибудь впечатляющего подарка храму, очень собою довольны. Они крестятся и выполняют этим весь свой долг; а если какой-то рассудительный приверженец Девы Троеручицы недоволен тем, что у его покровительницы оказалась третья рука, то он держит свои сомнения при себе, когда говорит о своих грехах исповеднику. – Следующий шаг с приростом разнообразия можно встретить у простых водуазцев; общие характеристики веры у них схожи, но некоторые исповедуют ее больше в духе страха, другие – больше в духе любви. Преобладающее чувство у них имеет аскетический характер, как сможет увидеть чужестранец, наблюдая крестьян, шествующих с угрюмой серьезностью к своим обычным местам поклонения на горной вершине или под сенью черных сосен посреди снежной пустыни; но священники здесь – больше наставники, чем диктаторы; и можно обнаружить немало людей, которые сомневаются в их мнениях и находят материал для бездумного удовольствия, а не для религиозного благоговения, когда следят за тем, как раскаты эха перелетают от кручи к круче, и наблюдают отблески летних гроз, играющие в ущельях. – Разнообразие удивительным образом возрастает с продвижением цивили-

зации; но оно еще не породило путаницы в самых просвещенных нациях мира. В Англии, во Франции, в Америке имеется ясно различимое религиозное чувство: в Англии, где есть каждая разновидность отступления от установленной веры; в Америке, где имеются все возможные разновидности мнений и нет вообще ничего установленного; и во Франции, ныне находящейся в состоянии, наиболее мешающем наблюдению, – в состоянии перехода от чрезмерной суеверности к религиозной вере, которая нащупывается, но еще не учреждена. Даже в этом неопределенном состоянии никто не сможет спутать религиозное чувство Новой Англии и Франции; и наблюдение их культовых мест покажет это различие. В Новой Англии в центре густонаселенных городов располагаются их церкви, просторные и броские, – не проявляющие никаких признаков античного происхождения, запечатленных в церквях Европы, и объяснимые только непосредственными религиозными вкусами тамошнего народа. В новых поселениях церковь вырастает рядом с постоялым двором и явно считается одной из насущных необходимостей общественной жизни. Первое, что узнают о новом жителе, – это как он относится к церкви, какова бы ни была ее деноминация. Во Франции те из старых церквей, что еще используются для их древней цели, свидетельствуют о ритуальной религии и, следовательно, о религии легкой и радостной по своему духу; таковы все религии, выносящие ответственность во внешние обряды, особенно если последние очень необременительны. Если послушницы в монастыре и иудеи в синагоге характеризуются легкостью их религиозного духа, то вполне можно охарактеризовать так и католиков просвещенной страны, отбрасывающих наиболее грубые и обременительные из своих обрядов, но сохраняющих ритуальный принцип. Искатели новой веры во Франции должны численно достичь миллионов, прежде чем смогут изменить характер религиозного чувства страны; и, возможно, прежде чем то, что ныне является грубым, сможет возвыситься до умеренности и прежде чем смесь легкомыслия и страха сможет переплавиться в живую серьезность умеренного, или католического религиозного убеждения, древние церкви Франции так и будут стоять в руинах, оставаясь объектами для исследований антикваров.

При удостоверении религиозного чувства любой страны необходимо соблюдать правило, повелевающее изучать вещи прежде

людей. Чужак в Англии мог бы опрашивать каждого, кого увидит, и, потратив на это целый год, стать ненамного мудрее. Он мог бы встретить в один день фанатика, на другой день – индифферентного, на третий – умеренно убежденного; он мог бы ходить от церковного старосты к иудею, от иудея к квакеру, от квакера к католику и каждый день уходить все дальше от понимания преобладающего религиозного чувства страны. Метод гораздо более короткий и верный – исследовать Места Поклонения, состояние Духовенства, Народные Суеверия, соблюдение Святых Дней и некоторые другие частности подобного рода.

Самоубийство. <…> В каждом обществе есть свои самоубийства, и из их характера и числа можно многое узнать как относительно преобладающих представлений о морали, так и о религиозном чувстве, воодушевляющем или контролирующем этот акт. Последним нам и предстоит теперь заняться. – Акт принесения жизни на алтарь – одна вещь для народа, имеющего смутные и мрачные предчувствия в отношении грядущей жизни (например, греков), и совершенно другая для тех, кто, подобно первым христианам, имеет ясное ви́дение блаженства и триумфа в мире, к которому они устремлены. Самоубийство означает разное для человека, уверенного в том, что он сразу попадет в чистилище, для того, чьим первым шагом будет наступить на горло своим врагам, для человека, верящего, что он будет тысячи лет лежать в полном сознании в своей могиле, и для того, кто вообще не верит, что будет жить дальше или возродится. Когда Курций прыгал в пучину, он, вероятно, прыгал в предельную тьму, отличную от физической; но когда Гюйон из Марселя последний раз грелся на солнце на балконе дома, где он был заперт с покрытым чумными пятнами телом, при вскрытии которого он должен был умереть, он верил, что из прибывающего и убывающего солнечного света он перешагнет в царство, где «не нужны ни солнце, ни луна, ибо оно освещаемо славою Божией». Больной мусульманин, отставший от своего отряда, боясь остаться непохороненным, выкапывает себе могилу и, завернувшись в свои погребальные одежды, ложится в нее и сам себя закапывает, оставляя лишь лицо в ожидании, что ветер засыплет его песком; он дрожит от мысли о двух внимательных ангелах, которые будут этой ночью проверять и, возможно,

пытать его. Английская леди, принимающая настойку опия, узнав, что она смертельно больна и опасаясь стать обузой мужу, ради которого она жила, поглощена идеей воссоединения с ним; жизнь в одном мире явлена ей как наполненная надеждой, тогда как в другом – отчаянием. – Нациям присущи подобные различия, соответственно преобладающим религиозным чувствам; и из этого вида акта путем умозаключения можно более или менее правильно вывести эти чувства. <…>

Глава II. Общие моральные понятия

Обращение с виновными. Обращение с виновными крайне важно как показатель моральных понятий общества. Этот класс фактов будет впредь давать непогрешимые умозаключения относительно принципов и взглядов правительств и людей на порок, его причины и средства его исправления. В наше время такие факты надлежит использовать с большой осторожностью, так как общества цивилизованных стран находятся в состоянии перехода от старого ожесточения к более чистой моральной философии. Древние методы, как бы ни были они позорны, должны сохраняться до тех пор, пока общество не придет к полному согласию и готовности к лучшим; и было бы сурово говорить о гуманности англичан на основе их тюрем или о справедливости французов на основе их галерной системы. Степени опоры на грубую силу и на общественное мнение еще никоим образом не соразмерны цивилизации соответствующих обществ, чего на первый взгляд можно было бы ожидать; так и должно быть, пока наказания и тюрьмы не могут быть взяты в качестве индикаций нравов и обычаев.

Обращение с виновными в диких краях, а также в странах, где царит деспотизм, демонстрирует только нравы правителей, если не брать в расчет, что оно указывает также на политическую покорность народа. В самом деле, бирманцам, должно быть, нужно плачевное социальное состояние, если их король может «выложить» своего первого министра под палящее солнце; однако сделать выводы о милосердии или жестокости его подданных можно только из свободы, которой они могут обладать и пользоваться для такого же обращения друг с другом. В их случае мы видим, что такой властью они обладают и пользуются. Кредитор выставляет же-

ну, детей и рабов своего должника под то же палящее солнце, которое изжаривает первого министра. В Австрии было бы глупо предполагать, что подданным присуще желание обращаться друг с другом так, как император и его министр обращаются с политическими преступниками в стенах замка Шпильберк. Русских в целом не следует считать ответственными за перевозку связанных благородных людей и дворян на сибирские серебряные рудники и в пограничные полки. Только при представительном правлении тюрьмы и обращение с осужденными можно справедливо рассматривать как показатель чувств большинства.

Между тем верно и то, что наказания почти повсюду имеют характер возмездия и больше связаны с предполагаемым принципом «недопущения того, чтобы зло осталось безнаказанным», чем с безопасностью общества или исправлением преступника. Немногие существующие исключения гораздо убедительнее свидетельствуют о продвинутом состоянии нравов, чем старые методы – о жестокосердии общества, которое они портят и деформируют. Филадельфийская тюрьма – доказательство продуманной и полной усердия человечности тех, кто ее основал; но Ньюгейтскую долговую тюрьму нельзя рассматривать как выражение решения английского народа касательно того, как следует держать под охраной преступников. Такая тюрьма не была бы ныне учреждена ни одной цивилизованной нацией. Ее существование нужно толковать не как признак жестокости и развращенности общества, а как признак его невежества, фанатичной приверженности древним методам или безразличия в отношении улучшений, к которым не призывает настойчиво корыстный интерес. Каждой из этих причин, видит Бог, достаточно, чтобы каждое общество должно было на это ответить, достаточно, чтобы дать, по контрасту, исключительное достоинство филантропии, свалившей позорный столб и работающей над тем, чтобы превзойти палача и превратить каждую тюрьму в цивилизованном мире в больницу для лечения нравственного недуга. Но реформа уже началась; дух Говарда начал победное шествие; и каким бы варварским ни оставалось пока еще наше обращение с виновными, лучшие дни не за горами.

Что же путешественнику наблюдать? Прежде всего, нет ли каких-то улучшений в обращении с преступниками в странах, где люди могут своим голосом на это повлиять, а в странах с деспоти-

ческим правлением – есть ли какое-то движение в общественном мнении о положении государственных преступников и обращаются ли люди друг с другом жестокосердно в своих апелляциях к законам гражданства: присутствует ли бирманская жестокость в осуществлении законных прав кредитора, нежелание обрекать других на несчастья законных наказаний или преступники считаются выпадающими за пределы симпатии. Может, таким образом, оказаться, что люди исповедуют пагубное представление, что для человеческого поведения прочерчена ясная граница, по одну сторону которой всё добродетель, а по другую – порок, или же они приближаются к более философскому и доброжелательному мнению, что всякая порочность – это слабость и несчастье и что, следовательно, виновные нуждаются в большей заботе и мягкости в упорядочении условий, в которых они живут, чем те, кто проявляет больше силы в противостоянии соблазну и духовную непринужденность, которая никогда не может быть ведома преступникам. В некоторых частях Соединенных Штатов это общее убеждение примечательно очевидно и служит неоспоримым доказательством передового состояния нравов. В некоторых тюрьмах Соединенных Штатов созданию таких порядков, при которых виновные оберегаются от заражения друг друга, подвергаются добрым влияниям и отгораживаются от дурных, уделяется не меньше заботы, чем в больнице – проветриванию палат, диете и уходу за больными. В таком регионе жестокосердие в общественных наказаниях должно убывать, и вместо него начинает преобладать Христово воззрение на человеческую вину и слабость.

Такие же выводы можно сделать из наблюдения методов законного наказания. Безразличие к человеческой жизни – один из вернейших симптомов варварства, и неважно, отнимается ли жизнь по закону или путем убийства. По мере того как люди цивилизуются и учатся ставить духовную жизнь выше жизни физической, человеческая жизнь становится все более священной. Турок отрубает голову рабу, почти не задумываясь. Новозеландцы убивали людей десятками, чтобы поставлять их высушенные и оскаленные головы английским покупателям, мало представлявшим себе ту цену, которой они получены. Так расточительно относятся к жизни в диких обществах. Вплоть до сравнительно высокой ступени развития цивилизации закон вольно обращается с жизнью, даже когда частное

расточительство ею давно поставлено под контроль или преодолено. Дуэлям, дракам, убийствам должен быть положен конец, и даже войны в какой-то мере должны быть осуждены, прежде чем закон должным образом признает священность человеческой жизни. Но когда-то это время приходит. Одно поколение за другим растет во все более совершенствующемся ощущении величия жизни, таинства существования такого существа, как человек, бесконечности идей и эмоций в душе каждого и необъятности его социальных связей. Признание этого не всегда может внешне себя выразить, но оно достаточно реально, чтобы удержать руку от посягательства на жизнь. Нежелание губить такое существо оказывается все сильнее и сильнее. Люди предпочитают страдание участию в таком страшном акте, каковым стала в наше время назначенная судом казнь: закон остается неиспользованным, от него уходят, и становится необходимым его изменить. Смертные казни ограничиваются, потом еще более ограничиваются и, наконец, упраздняются. Таков процесс. Ныне он почти завершился в Соединенных Штатах, и он быстро продвигается вперед в Англии. В ходе его прогрессивного развертывания изменения в характере других наказаний (называемых меньшими) проливают дополнительный свет на моральные представления соответствующего народа. Физические муки и причинение увечий остаются в прошлом. Пытки и изувечение пресекаются, чуть позже происходит отказ от причинения грубых душевных страданий. Позорный столб (как просто позорящее выставление напоказ) был большим шагом вперед по сравнению с нанесением увечий, с которым он был некогда связан; но сегодня он отвергается как проявление варварства. Когда-нибудь всякое позорное выставление напоказ станет считаться таким же варварским, вместе со смертной казнью, рекомендованным принципом которой является подобное выставление. Обратимся еще раз к пенсильванскому случаю: эти представления о позорном выставлении напоказ настолько там преодолены, что избегание его стало главным принципом управления. Тамошний метод – изоляция под опекой закона; он основывается на принципе уважительного отношения к слабому и предельной внимательности к чувству самоуважения у преступника – чувству, которого ему с необходимостью больше всего недостает. Когда мы рассматриваем жестокие методы наказания, которые применялись в былые времена и ныне используют-

ся в некоторых странах, в сравнении с учрежденными в последнее время и наиболее успешными, мы не можем не почувствовать, что таковые являются показателями моральных представлений тех, по чьей воле они существуют, будь то совет деспотов или объединение наций. Рассматривая их, мы не можем не почувствовать, какое варварство считается правосудием в некоторые эпохи и в некоторых странах и как то, что тогда или там осудили бы как преступную снисходительность, начинает в другое время и в другом месте считаться недотягивающим до правосудия. Обращение с виновными – одно из сильнейших свидетельств общих моральных понятий общества, когда оно вообще свидетельствует о чем-то, т.е. когда виновные находятся в руках общества.

Глава III. Состояние семьи и дома

Торговый класс. От степени развития торговли в стране зависит во многом характер ее нравов. Старые добродетели и пороки теряют значение, и на их месте появляются новые. Старые члены растущего торгового общества жалуются на утрату простоты манер, внедрение новых желаний, ослабление нравов и преобладание новых привычек. Младшие члены того же общества радуются тому, что ханжество выходит из моды, что сплетни, судя по всему, вытесняются более высоким родом общения, привносимым чужаками, и расширением знания и интересов; они даже решают, что домашние нравы становятся чище от общего расширения и оживления ума, пришедшего на смену *ennui* и себялюбию, в которых часто берет начало вседозволенность. Весьма примечательную картину двух состояний одного и того же места можно составить, сравнив описание города Олбани, штат Нью-Йорк, данное миссис Грант в пору ее юности*, с нынешним состоянием этого города. Она рассказывает нам об играх детей на зеленом склоне, ставшем ныне Стейт-стрит, о чаепитиях и рабочих группах, о сплетнях, ссорах и злобной мелкой вражде в молодом обществе, с его общей регулярностью и спорадическими отступлениями от правил, с мягким деспотизмом его состоятельных членов и более или менее своенравной или сервильной покорностью подчиненных им персонажей. Вместо всего этого чужестранец обнаруживает сегодня город

* «Мемуары американской леди».

с величественными общественными зданиями и частными домами, полными вещей, произведенных во всех странах мира. Его жители слишком заняты, чтобы предаваться сплетням, слишком несдерживаемы в своем общении с большим количеством людей, чтобы сколько-нибудь сохранять ханжество; социальный деспотизм и покорность стали невозможны; царит благородный дух предпринимательства, расширения знания и улучшения мнения. В то же время мы видим, возможно, упадок добрососедского почтения и, что уж там говорить, большой рост тех низких пороков, которые являются бедствием торговых городов. Такова трансформация, вызываемая коммерцией. Наблюдатель, умеющий также и думать – обращающий внимание на *до* и *после*, – заключит, что изменение, происходящее посреди зла, пойдет в итоге на пользу и что из расширения связей между людьми и обществами должно вырасти, в целом, добро и благо. Видя в коммерции инструмент, благодаря которому все жители земли вовлекаются со временем в общее обладание всеми истинными идеями и симпатию во всех добрых чувствах, он будет замечать прогресс, достигнутый посещенным им обществом на пути к этой цели. Он будет отмечать, движет ли его купцами в целом дух благотворного предпринимательства или низкий своекорыстный интерес, свойственны ли им уважение к познанию и вкус к искусству – не ввозят ли они из-за границы одно, лелея у себя дома другое, – короче говоря, являются ли торговцы принцами или стяжателями сообщества. Дух этого класса будет определять дух подчиненных. Если хозяева коммерции преданы свободе и просвещению, то их слуги будут целеустремленными и будут обладать добродетелями, служащими самоуважению; если наоборот – то они будут принижаться в своем достоинстве. Еврей-ростовщик не больше похож на купца из Сейлема или Бордо, чем малайские привратники в Макао – на клерковский класс Амстердама. В торговых слоях общества можно найти крайности чести, великодушия, прилежания и аккуратности, но в то же время вероломства, подлости и эгоистической недобросовестности. Дело путешественника – отмечать тенденции к тому или другому, идет ли речь о непритязательном обороте свиней и ямса на островах Южного моря или о блистательных сделках торговцев Гамбурга.

Пер. с англ. В.Г. Николаева

(Окончание следует.)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ РАБОТ, ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА[1]

Ядова М.А. 01.018
Bartmanski D. 01.006
Desmond M. 01.002
Gilleard Ch. 01.012
González Díez J. 01.001
Higgs P. 01.012
Jasper J.M. 01.016
Llewellyn N. 01.007
Logan N. 01.010
Lowndes V. 01.015
Lukas M. 01.003
Madziva R. 01.015
Mandemakers J. 01.004
Martineau H. 01.019
Monten J. 01.014
Morning A. 01.009
Owens L. 01.016
Przybylski A.K. 01.008
Roeters A. 01.004
Schiermer B. 01.005
Śliz A. 01.011
Szczepański M.S. 01.011
Turner S.P. 01.013
Viazzo P.P. 01.001
Ward M. 01.017
Weinstein N. 01.008
Woodward I. 01.006

[1] В номерах рефератов алфавитного и предметного указателей год издания (2017) опущен.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Арчер М. 01.012
Аутентичность 01.005

Бедность 01.002

Виниловые пластинки 01.006
Вооруженные конфликты 01.014

Генетика 01.009
Государственное строительство
– сравнительное изучение 01.014

Демографический переход
– Италия 01.001
Домохозяйство
– ФРГ 01.003

Жизненные стили 01.005
Жизненный путь 01.012

Иконичность 01.006
Имитация 01.005
Интервенция (междунар. право) 01.014
Ирония 01.005

Кампания «Go Home» 01.015
Коммуникативная функция денег 01.007
Корпорация «Starbucks» 01.010
Культура постмодерна 01.005

Межличностная коммуникация 01.008
Миграция населения нелегальная
– Великобритания 01.015
Микромобилизация 01.017
Мобильная и сотовая связь 01.008
Модернизация общества 01.011
Молодежь
– РФ 01.018
Моральный авторитет 01.018

Наличные деньги 01.007

Паблик рилейшнз
– США 01.010
Питание 01.004
Потребительское поведение
– Нидерланды 01.004
– ФРГ 01.003
Продвижение демократии 01.014
Психология и социология 01.012

Раса 01.009
Расовые отношения
– США 01.010
Рекоммодификация 01.006
Репрезентативность выборки 01.019

Свободное время 01.004
Север–Юг (теория) 01.011
Семья
– Италия 01.001
Сорокин П.А. 01.013
Социальные движения 01.016, 01.017
Социальные индикаторы 01.019

Социальные связи 01.002, 01.008
Социобиология 01.009
Социология
– история 01.011
Социология в США 01.013

Устойчивое потребление 01.003

Фастфуд 01.004

Хипстеры 01.005

Экзогенные и эндогенные факторы развития 01.011
Экологическая политика
– ФРГ 01.003
Эмоции 01.016
Эриксон Э. 01.012

Составитель: *В.Б. Смиренский*

Социальные и гуманитарные науки
Отечественная и зарубежная литература
Реферативный журнал

Серия 11

СОЦИОЛОГИЯ
2017 № 1

Художник обложки и художественный редактор М.Б. Шнайдерман
Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова
Корректор О.П. Дормидонтова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 30.08.1999 г.

Подписано к печати 20.03.2017

Формат 60×84/16	Бум. офсетная № 1
Печать офсетная	Цена свободная
Усл. печ. л. 9,75	Уч.-изд. л. 7,9
Тираж 300 экз.	Заказ № 4

Институт научной информации по общественным наукам РАН
Нахимовский просп., д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:
E-mail: inion@bk.ru
Отпечатано в ИНИОН РАН. Нахимовский просп., д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9